
ГЛАВА ВТОРАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ 1757 год

Договор России с Австриею 22 января. - Договор Австрии с Франциею 1 мая. - Людовик XV не ратификует секретной русской декларации. - Столкновения России с Франциею по поводу Польши. - Взгляд Бехтеева на отношения союзных дворов. - Назначение М. П. Бестужева-Рюмина послом во Францию; письмо его из Варшавы; приезд его во Францию и первая деятельность. - Маркиз Лопиталь - французский посол в Петербурге. - Начало военных действий. - Прусские шпионы. - Неудовольствия в Петербурге на медленность Апраксина; письмо к нему канцлера Бестужева. - Переход русского войска за границу. - Грос-Егерсдорфская битва. - Отступление Апраксина после победы. - Он сменен Фермором в главном начальстве над армиею. - Сношения с Австриею по поводу гонения на православных в австрийских областях. - Сношения с Англиею, Швециею и Польшею. - Внутренние распоряжения относительно войска и финансов. - Крестьянские волнения. - Состояние дел на окраинах.

Зима мешала движению войск, но не мешала дипломатическим приготовлениям к войне. 22 января был заключен в Петербурге новый договор между Россиею и Австриею. Этим договором подтверждался майский договор 1746 года, причем отдельная и секретная статья майского договора становилась основанием настоящего соглашения. Мария-Терезия обязывалась выставлять против Пруссии во все продолжение войны не менее 80000 регулярного войска; Елисавета также - 80000 регулярного войска, кроме того, от 15 до 20 линейных кораблей и по крайней мере 40 галер. Договаривающиеся державы будут сообщать друг другу подробные и точные сведения о состоянии своих войск, перешлются взаимно генералами, которые будут иметь право присутствовать и подавать голоса на военных советах; относительно общего плана военных действий будет взаимное соглашение. Так как прусский король в настоящее время употребляет большую часть своих сил против армии императрицы-королевы, то императрица всероссийская обязывается как можно скорее двинуть свои войска в его владения, причем императрица-королева обязывается занимать прусские войска для содействия операциям русских войск. Обе государыни обязываются не заключать ни мира, ни перемирия с общим неприятелем - королем прусским - без взаимного согласия; они будут вести войну до тех пор, пока императрица-королева не получит в спокойное владение всей Силезии и графства Глац. Спокойствие Европы может быть твердо установлено только тогда, когда у короля прусского отнимутся средства возмущать его: обе императрицы употребят все усилия

для оказания человечеству этой услуги, и они будут сноситься об этом со всеми другими державами, которые они увидят к тому расположенными. В отдельных статьях договаривающиеся державы обязывались призывать к союзу других государей, и преимущественно французского короля, потом Швецию и Данию, причем Швеция должна быть вознаграждена соответственно ее участию в войне. Россия и Австрия обязываются употребить все средства не только для возвращения польскому королю Саксонии, но и доставить ему на счет Пруссии приличное вознаграждение за его потери. В отдельной и секретной статье Австрия обязывалась уплачивать ежегодно России по миллиону рублей. Договор был написан на французском языке; но внесено в условия, чтоб этого обстоятельства не считать примером для будущего. Договор подписали: Алексей, граф Бестужев-Рюмин. Михаил, граф Воронцов. Николай, граф Эстергази.

Чтоб отвлечь великого князя Петра Федоровича от короля прусского, Мария-Терезия сочла нужным заключить с ним особый договор, по которому венский двор выплачивал ему 100000 флоринов. Но Кауниц был недоволен и говорил, что эти деньги императрица бросила за окно, потому что великий князь не переменится в своих чувствах к прусскому королю. Марии-Терезии можно было согласиться на ежегодную уплату России миллиона рублей, потому что в новом договоре, заключенном ею с Францией 1 мая 1757 года, король обязался выплачивать ей по 12 миллионов гульденов. Король обязывался выплачивать императрице-королеве деньги и помогать ей войском, пока вследствие мира с прусским королем она не приобретет Силезии, графства Глац и княжества Кроссен; курфюрст саксонский получает герцогство Магдебургское; Франция получает от Австрии часть ее Нидерландов, а другая часть отдается зятю короля Людовика XV инфанту испанскому Филиппу.

В договоре между Францией и Австрией было определено, что обе державы должны получить, если принудят прусского короля к миру; но когда Россия в особой декларации хотела заявить, что она желает приобрести провинцию Пруссию, которую променяет Польше на Курляндию, то Мария-Терезия сильно воспротивилась этой декларации. Эстергази представлял Воронцову, что императрица-королева готова доставить России не только Пруссию, но и большие приобретения, причем данное уже ею слово больше силы и действия иметь будет, чем глухое постановление, в общих выражениях заключающееся; если это постановление и секрет выйдут наружу, то Франция станет подозревать оба двора и не доверять им, а прусский король, Польша и другие державы станут по всему свету распространять нарекания. Но дело в том, что венский двор уже дал знать Франции о русских требованиях и из Франции пришел совет - отвечать России, что еще не время делать Франции предложение о русских требованиях; причем французский посол в Вене получил от своего двора внушение, что венский двор ошибается, если благоприятствует увеличению России в соседстве Германии; венский двор, быть может, первый будет в этом раскаиваться. На своем донесении

императрице о внушениях Эстергази Воронцов заметил: "По моему слабейшему мнению, для нынешних деликатных и весьма сумнительных обращений дел, кажется, можно безо всякого предосуждения на сие желание венского двора поступить, ибо когда Бог благословит оружие российское и завоевана будет Пруссия и другие области короля прусского, то можно будет при примирении общем по тогдашним обстоятельствам в награждение убытков с нашей стороны Курляндию или город Данциг за собою удержать или какие другие аванжаги получить". Дело было отложено до более благоприятных обстоятельств.

Мы видели, что в самом конце 1756 года и Елисавета приступила к первому Версальскому договору, но с особенным условием относительно Турции и Англии. Бехтеев должен был объяснить французскому министерству, что в России медлили с приступлением к Версальскому договору, желая не только восстановить доброе согласие, но и положить ему непоколебимое основание, и потому заботились именно об этом, а не об одной форме; если бы в договоре исключена была, с одной стороны, Англия, а с другой - Турция, то этот договор был бы просто восстановлением дружбы, ибо Англия относительно Франции, а Турция относительно России суть единственные державы, от которых можно ожидать нарушения мира.

Но Бехтеев дал знать Воронцову, что нельзя описать, как секретнейшая декларация прискорбна французскому двору. Он считает это дело нечестным и подозревает канцлера, что он нарочно его устроил, желая или посорить Францию с Портою, или произвести холодность между Франциею и Россиею. Рулье выразил опасение, чтоб Бестужев не приказал нарочно сообщить декларацию Порте. "Вице-канцлер Воронцов, как честный человек, этого бы не сделал", - говорил Рулье. На Дугласа страшно раздражены, всю вину складывают на него. Рулье даже решился сказать Бехтееву, что, таким образом, нельзя иметь никакого дела с русским двором.

Официально Бехтеев доносил 8 февраля 1757 года, что акт приступления был ратификован, но ратификовать декларацию не согласились. Король выразился, что "не может согласиться на этот прекрасный секретный акт, который Дуглас имел глупость подписать". Рулье объявил Бехтееву решительно, что и политические причины, и собственный интерес Франции не позволяют этого: при нынешних обстоятельствах надобно удержать Порту от соединения с Англиею и прусским королем, не потерять при ней своего кредита и не уничтожить французской торговли в Леванте. Порта сильно встревожилась, узнавши о Версальском договоре и особенно о приступлении к нему России; успокоить ее можно было одним обнадеживанием, что она в акте этого приступления именно будет исключена, и обнадеживание было дано. После этого было бы противно обычаю и праводушию короля заключать вдруг два акта об одном деле, прямо друг другу противоречащие, и как во Франции ни уверены в

сохранении тайны (хотя редко бывает, чтоб самый секретный параграф не выходил наружу), однако такой поступок тайною оправдан не будет; поэтому его величество король надеется на известное праводушие и проницание императрицы: от нее не скроется справедливость причин, не позволяющих ратифицировать декларацию, как это ни прискорбно французскому правительству.

"И подлинно, - писал Бехтеев, - французский двор приведен в великую печаль и смущение: с одной стороны, он связан данным Порте обнадеживанием, с другой - чувствует неприятные следствия отказа в ратификации. Министерство сильно досадует на графа Эстергази, на Дугласа и графа Штаремберга; на первого за то, что принудил Дугласа к подписанию декларации; на графа Штаремберга за то, что недовольно точно истолковал мнения французского правительства, которое на него в этом деле положилось; о Дугласе Рулье отзывался с великим неудовольствием. В заключение Рулье просил меня уверить высочайший двор, что, несмотря на это неприятное происшествие, король искренно желает большого утверждения благополучно возобновленной дружбы и обнадеживает, что происшедшая неприятность несколько не воспрепятствует ему вместе с Россией принять меры для удовлетворения венского и саксонского дворов относительно короля прусского".

Но кроме Турции Польша также представляла сильные поводы к неприятностям, потому что Франция боялась, чтоб русская партия в Польше не усилилась благодаря вступлению русского войска в эту страну; ясный признак усиления русской партии, т. е. партии Чарторыйских, французский двор видел в назначении племянника Чарторыйских и друга Уильямса Станислава Понятовского польским уполномоченным в Петербург; тщетно Август III успокаивал французский двор; тщетно Бехтеев уверял Рулье, что с Понятовского взято честное слово держаться настоящей политической системы, и если в поведении его окажется хотя что-нибудь противное, то король немедленно отзовет его; Рулье повторял одно: что Понятовский был друг Уильямса. Рулье передал Бехтееву записку, в которой говорилось, что французский король признает необходимость похода русских войск через польские земли, но необходимо предупредить могущие произойти из этого вредные следствия. Нет сомнения, что поляки, приверженные к России, замышляют конфедерацию, надеясь на подкрепление ее со стороны русских генералов, которые будут начальствовать войском в Польше, надеясь, что и одно присутствие русской армии, если б она не принимала никакого участия в польских делах, доставит им большую силу; а противники их, которые имеют прибежище к французскому двору, принуждены были бы созвать свою конфедерацию, а может быть, захотели бы и предупредить врагов. Так как поход русских войск чрез Польшу имеет целью подать как можно скорее помощь королю польскому вступлением в области его врага, то французский двор признавал и признает за лучшее, чтоб русское войско шло в Пруссию из Курляндии, захватив малую часть Самогитии; но если

оба императорские двора признают необходимым, чтоб русское войско шло другим путем через Польшу, то французский двор для сохранения тишины в Польше и для успокоения турок может согласиться на это с одним условием: чтоб русское войско шло через Польшу со всевозможною поспешностью, с наблюдением наистрожайшей дисциплины и платя за все исправно. Потом французский двор признает необходимым, чтоб прежде вступления русских войск в Польшу русские министры в Варшаве устно и письменно объявили, что войска императрицы при проходе через Польшу не намерены ни под каким видом мешаться во внутренние дела республики и что все будет оставлено как теперь, особенно дело острожской ординации. Россия должна употребить все свое влияние, чтоб удержать своих приверженцев от конфедерации, и не должна ни под каким видом вступаться в частные ссоры польских вельмож. Французский король с своей стороны готов дать такую же декларацию для показания полякам, что они не могут ожидать от него никакой помощи для заведения в республике смуты и для воспрепятствования походу русских войск.

Бехтеев, возвращая записку Рулье и поблагодаря за предварительное ее сообщение, заметил, что излишне требовать обнадеживаний в таком деле, которого императрица сама более всего желает, именно сохранения тишины в Польше. Записка эта служила бы только доказательством, что коварные внушения недоброжелательных людей, старающихся возбудить недоверие между двумя дворами, взяли верх, что французский двор подозревает, будто императрица намерена подкреплять какую-то конфедерацию. Подобная записка была бы неприятна русскому двору, а может быть, подтвердила бы все те известия о недружественных поступках и отзывах французских министров в Варшаве и Константинополе, чему до сих пор императрица не верила. Не только нет ни малейшей нужды в требуемых формальных декларациях, но французский двор и не имеет никакой законной причины их требовать; несогласно с достоинством обоих дворов поступать так формально по желанию нескольких беспокойных поляков, которых ничем нельзя удовлетворить, и если французский двор будет их слушать, то часто принужден будет требовать подобных деклараций, тогда как очень легко избежать всяких неприятностей и без деклараций: пусть только министры союзных дворов прилагают общее старание содержать поляков при доброй системе, поступая во всем согласно.

"Виновник всему этому делу, - писал Бехтеев, - это французский министр в Варшаве граф Брольи, слывающий здесь знатоком польских дел. Глава французской партии в Польше - гетман коронный, почему и войска республики во власти этой партии, и она сильнее всех, и если она будет знать, что никто за других не вступится, то первая начнет всех других притеснять и тем заведет беспокойство в республике. Граф Брольи - человек очень беспокойный, любит предписывать законы и все переворачивать по своим мыслям; по природной же своей остроте и

быстроте разума в состоянии выдумать множество способов для подкрепления своих мнений".

Бехтеев, посланный во Францию для установления дружественных отношений между нею и Россию, считавшихся естественными и необходимыми вследствие перемены политических обстоятельств, - Бехтеев не позволил себе, однако, увлечься своим положением, глядел трезво и осторожно. Он писал Воронцову: "Вся сила состоит в маркизе Помпадур по чрезмерной милости и доверенности к ней королевской. То бесспорно, что она имеет весьма проницательный и прехитрый разум. Маршал Белиль, невзирая на глубокою старость, имеет свежий разум и память. В речах более сокращен, нежели плодовит, мысли весьма ясны, изображает их столь внятно и связно, что очень легко понять его мнение; одну погрешность ему приписуют - страсть к присовокуплению богатства, притом почитают его за человека, который похлебству и лицемерию наилучше умеет дать вид искренности. Аббат Бернис - человек острый, воображение имеет весьма живо, довольно учен и сведущ в делах, сладкоречив, любит светское житье и веселья; он был знаком маркизе, когда она была мадам Тирольи; он в великой бедности дельвал для нее стишки и был соучастником в веселиях. Достигнув благополучия, она произвела его мало-помалу, так сказать, из ничего даже до чина статского министра. Можно сказать, что он ее тайный советник. По иностранным делам сии два министра, будучи в великом кредите у маркизы, наиболее силы имеют, почему и все чужестранные министры к ним адресуются. Господину Рулье иногда сие немило, но не смеет против того явно досадовать, опасаясь потерять первое место. По всему кажется, нельзя больше дворам в дружбе быть, как здешний и венский. Сие и нынешнее особое здешнего двора усердие о интересах венского должно приписывать двум главным причинам: кредиту маркизы и поманке к приобретению новых областей. Но только одна маркиза и аббат Бернис, поставляя себя творцами сея системы, стараются оную сутенировать; прочие министры тому следуют и, пока оные две особы в силе будут, тому следовать будут. Генерально же весь народ поныне аустрийцев не любит. Явным негодованием отзываются, что войска и иждивения тратятся на вспоможение древнему их неприятелю. Венский двор думает, что много здешний уловил. Кажется, здешнее министерство непрозорливо, но заведенная издревле машина так тверда, что трудно ее испортить. В самом деле, Франция великую пользу в нынешних обстоятельствах находит. Ее вид всегда был обессилить аустрийский дом и приобретать мало-помалу Нидерланды; она, может быть, то получает, а за то дает ему Силезию, собственное его имение. Итак, Франция всегда с выигрышем остается. Притом сама неохотно уже видит силы короля прусского, который, будучи протестантской веры, зачинает собою в Германии властвовать и кредит ее (Франции) разделять, а со временем ей столько же или еще больше опасным быть может, как и австрийский дом, которого она по меньшей мере турками воздерживать могла.

По всем обстоятельствам видно, что министерству здешнему внушают, якобы Франции никакой пользы нет в обязательствах с Россиею, а только быть в доброй дружбе. Министерство, по слабости своей, однако ж, боясь и угождая маркизе, которая весьма склонна к венскому двору, оное мнение здесь принимает. Сего ради старался граф Старенберг всю негоциацию окончить до прибытия послов без содействия и всех других дворов, хотя о их интересах тут же трактовано; и так не оставлено им как единое приступление и принятие. Сию политику Россия могла простить венскому двору, и поперечить ему не надобно было. Общее дело требовало каким бы то ни было образом Францию серьезно ввести в игру против короля прусского для приведения сего государя в настоящие границы, в чем главный вид России состоит. Теперь она уже введена, и России надлежит необходимо действовать самой у здешнего двора.

Все ныне воюющие державы против короля прусского по побеждении оного обнадежены о выигрыше, а именно: Аустрия, как неправо обиженная сторона, бесспорно, берет обратно Силезию и по праву завоевания, и как отнятое у ней имение. Франция спорить не будет получить за то Нидерланды, что она себе формально трактатом обещала. Швеция берет назад от неприятеля также землю, которая ей принадлежала и на которую она еще претензию имеет. Сверх того, три главные союзника о том предупреждены и не токмо оное ей сами обещали, но и формально трактатом в том обязались. Итак, сии три пункта между союзниками предварительно решены, и при генеральном примирении некому в том спорить. Только будет затруднение одной России в одержании того, что она от нынешней войны себе обещает, а именно сверх обессиления короля прусского приобретение себе Курляндии. Правда, постановлено о том с венским двором, но другие союзники, кои как главные державы при замирении будут, о том не знают. Правильно могут тогда говорить, что они чужим добром распоряжаться права не имеют и не должны, но паче, имея с Польшею обязательства, всячески Россию от того отвращать станут. Может Россия предъявлять, что она Польше уступит за то Пруссию. На то нетрудно ответить, что Россия на Пруссию и на завоевание областей короля прусского права не имеет, потому что она, яко ауксилиарная держава и по обязательствам с аустрийским и саксонским домами, войну производила. Все тогда, наскучив войною, получая то, что всякий желал, а венский двор первый, выдадут Россию и не похотят для нее одной замирения остановить; напротив того, ежели бы Россия поупрямилась удержать Пруссию, то оставят ее одну; а по политическому резону надобно думать, что Швеция, которой не должно совсем доверять, явно против того деклароваться может, да и для принуждения к тому России она в состоянии против ее поднять поляков и турков, внушая им только, что Россия без всякого права хочет завладеть у республики Курляндиею, собственною ее землею. Необходимо надобно: первое, чтоб Россия при добрых успехах оружия сама объявила войну королю прусскому, к чему суть законные причины. Второе, снестись с Франциею и с Швециею и формально постановить, что ежели Россия завоеует Пруссию (провинцию), то по

замирении обязуется ее отдать Польше, с тем чтоб России награждены были употребленные на войну изживения и убытки, о чем оставляется России трактовать и соглашаться с республикою".

10 июня приехал в Версаль полномочный русский посол граф Михайла Петрович Бестужев-Рюмин. В 1755 году дряхлый, больной Бестужев был вызван в Петербург из Дрездена, где оставил жену в сильной чахотке. Несмотря на то, он сам вызвался ехать послом во Францию письмом к Воронцову: "Ваше сиятельство достойным инструментом были примирения нашего двора с французским, еже к немалой нашей славе и чести приписуется; да соизволите же быть достойным инструментом и в назначении туда посла. Сия дистинкция во особенное удовольствие мне будет, и кредит ваш при французском дворе тем более умножится, когда ваш поверенный друг и слуга туда назначен будет".

Бестужева назначили, и легко понять, как должен был отнестись к этому назначению братец-канцлер. Братья соблюдали наружные приличия, бывали друг у друга: Михаил Петрович однажды обедал у канцлера, но по поводу этого обеда Уильямс острил: "Можно себе представить, как был весел этот обед: если б на столе было молоко, то оно бы свернулось от этих двух физиономий".

Бестужев поехал во Францию через Варшаву и воспользовался случаем написать отсюда императрице о неприятном ему Гроссе: "При прощании моем с здешними вельможами и другими чинами они почти единогласно и прямо мне отзывались, что русский двор много теряет, имея здесь посланником своим Гросса, самого чудного человека, который все полезные дела портит своими странными поступками, особенно неуважением к магнатам, чему в республике быть вовсе некстати, ибо там надобно по наружности со всеми приятельски обходиться и стараться ласкою приклонить всякого к своей стороне. Притом он вовсе не знает здешней системы и держится одних князей Чарторыйских, которые, злясь на графа Брюля, что они теперь не в такой силе, как прежде были, что не от их рекомендации зависит пожалование в чины и награждение староствами, враждебно относятся к своему двору и, по-видимому передавшись тайно прусскому двору, действуют согласно с поверенным прусского короля в Варшаве Бенуа. Гросс, слепо пристав к их стороне, грозит их неприятелям покровительством России, под которым находятся Чарторыйские, вследствие чего великий гетман коронный и другие вельможи пристали одни к французской, а другие к прусской партии. Видя неспособность Гросса и невоздержность в речах, видя, что он не может хранить тайны, никто не имеет к нему ни малейшей доверенности, все им гнушаются и избегают его общества, а какое от этого бесславие России, изобразить нельзя".

Бестужеву было поручено склонять польских панов, чтоб Польша также объявила войну Фридриху II, вступившись за своего короля; но старания

его были напрасны, и он писал Воронцову: "Поляков я и сам ныне возненавидел, и дельно, что вы их не любите; я их пикировал славою и честью и собственным их интересом, чтоб они королю своему помогли: могут при сем случае все пруссы себе достать; представлял им пример короля Яна Собеского, когда он под Вену ходил против турок, какую тогда польская нация славу и честь себе получила. Ничто не успевает, но только злости свои между собою продолжают. И то им представлял, что когда король прусский в намерениях своих успех получит, то им первым достанется, ответ их был: Россия сама до того не допустит. Народ чудной: для своих интересов всякие низости делать готов, ноги обнимать и руки целовать".

На дороге Бестужев съехался с умирающею женою, выгнанною из Саксонии прусским нашествием, и, сам больной, привез ее умирать в Париж. Несмотря на то, Бехтеев так описывал поведение Бестужева на приеме у короля: "Его сиятельство, невзирая на многие попытки от подводителя посольского, во всем по благорассудку своему с достоинством, принадлежащим своему характеру, поступал, не давая себя оглушить многословием здешним. Впрочем, мне казалось, что он шел на аудиенцию и говорил смелее самих тех прочих и с такою осанкою, что нарадоваться довольно не мог то видеть и слышать при том рассуждения французов".

В Версале Бестужеву было легче говорить о польских делах, потому что он имел дело уже не с Рулье, находившимся под влиянием Брольи, а с новым министром, известным уже нам аббатом Берни. Бестужеву удалось убедить Берни, что нельзя верить всем вестям из Польши как по характеру поляков, так и по характеру Брольи и при настоящих отношениях нельзя мешать существенного с несущественным, прусского дела с польским. В Петербурге Дугласу было решительно объявлено, что требуемая его двором декларация нисколько не сходна с достоинством императрицы, что король сам ясно усмотрит, если отвергнет всякие коварные внушения беспокойных людей и положится на добрую веру ее величества.

В соответствие Бестужеву одновременно был отправлен в Петербург послом маркиз Лопиталь. Бехтеев описывал его так: "Он роста видного, чаю, за 50 лет, человек, кажется, предобрый, сам просился в сие посольство и с охотою едет к нам". Но о дворянах посольства Бехтеев отозвался к Воронцову не очень лестно: "Когда мне их представляли, то я не знал, что делать. Не можете поверить, как мало сведущи здесь о нас. Причина тому, что мало или почти никого из дворянства здешнего у нас не было, а только подлые или по меньшей мере самые бедные, не выключая и тех, которые министрами были и которые за собственную досаду или в оправдание своих худых поступков, сколько можно, худые мнения об нас подали, так что, кроме ученых и у дел находящихся (да и то не все), прочие французы, особливо знатные, думают, что французу у нас надобно умереть с голоду и с холоду. Трудно у них из головы вынуть это затверделое мнение при

роскошах, в которых дворянство здесь погружено, и при малом понятии, которое оно вообще имеет о других землях".

Между тем как немислимый прежде союз трех великих континентальных держав - России, Австрии и Франции - затягивался в Париже и Петербурге, виновник этого союза общий враг Фридрих II в апреле месяце открыл кампанию вторжением своих войск в Богемию. После кровопролитного сражения у Праги урон в обоих войсках оказался одинаков; в июне в битве при Колине Фридрих потерпел поражение, вследствие чего принужден был очистить Богемию.

Австрийцы исполнили договор: заняли главное прусское войско; надобно было русским исполнить свое обязательство - войти в это самое время в прусские владения. В феврале к фельдмаршалу Апраксину в Ригу приехал австрийский генерал С. Андрэ, назначенный по договору состоять при русском войске с правом голоса на военных советах. Апраксин писал о С. Андрэ: "Что касается до поступков сего приезжего, то оный изрядных сентиментов, немало военного искусства и постоянный человек быть видится. Он мне изъяснился, что по состоянию, в каком ныне неприятель находится, его всемерно всею силою в способное время атаковать надобно и раздроблять армию отнюдь не надлежит, дабы ему над корпусами к поиску способа не подать, ибо он привык сперва разбитием отдаленных корпусов главную армию в бессилие приводить, присовокупя к тому точно сии слова, что с сим гордым неприятелем игрушки (разумея разделение корпусов) употреблять не надобно, но или силою действовать, или ничего не употреблять". Апраксин тут же узнал, что гордый неприятель употребляет и другие средства кроме разбития отдельных корпусов. При главнокомандующем в Риге для секретных дел находился ассессор Веселицкий, родом черногорец, который разобрал зашифрованные письма подполковника лифляндца Блома. Блом вследствие этого был схвачен и показал: в 1753 году он хотел перейти в прусскую службу и для получения отпуска объявил, что в Пруссии его ждет наследство. Он подал просьбу Фридриху II, но ему отвечали, что принять в службу его нельзя по причине старости, ибо ему уже 73 года. Когда он собирался уехать из Потсдама, пришел к нему известный Манштейн и удержал его; а потом капитан Винтерфельд сделал ему предложение - не покидая русской службы, быть прусским шпионом с жалованьем по 180 червонных. Обязанность его состояла в присылке известий о русских полках, о рекрутских наборах, о разных движениях войск. Письма адресовались в Берлин на имя прокуратора Беренса под видом, что переписка идет по поводу тяжбы о наследстве, а вместо Беренса получал их Манштейн. Когда Блом был в Потсдаме, то фельдмаршал Кейт, генерал Винтерфельд и особенно Манштейн наведывались у него: где находится принц Иван, здоров ли он и не женат ли? Действительно ли принцесса Анна умерла, и не было ли вместо нее выставлено тело какой-нибудь другой женщины? Жив ли и здоров ли Бирон? Жив ли Миних? Блом слышал, как Кейт, Винтерфельд, королевский адъютант Будденброк и полковник Манштейн читали письмо

на французском языке, полученное Кейтом из России, где говорилось, что между знатнейшими господами в Петербурге происходят великие несогласия, что кредит канцлера очень упал; прибавлено было также известие о деле полковника Олица с крестьянами. Кейт читал письмо, закрывши подпись рукою. Кейт, по уверению Блома, почти каждую почту получал письма из России с точными известиями о всех происшествиях. Блом в своей переписке употреблял условный язык. 50 овец означало 50000 рекрут, под быками разумелась кавалерия и т. п.

Уже в начале года в Петербурге были недовольны медленностью Апраксина. Канцлера Бестужева очень беспокоило это неудовольствие: значение его, видимо, понизилось, он был окружен сильными и торжествующими врагами; Апраксин оставался у него единственный друг с важным значением; успех Апраксина на войне был чрезвычайно выгоден для Бестужева; неудача Апраксина лишала канцлера последней опоры; притом канцлер мог бояться, что враги припишут его внушения медленность фельдмаршала. Все это заставляло Бестужева торопить Апраксина, Апраксин сердился: добрый человек и уже немолодой (54 лет), *мирный* фельдмаршал (хотя и казавшийся более воинственным, чем два другие мирные фельдмаршалы - Разумовский и Трубецкой), любивший со всеми жить дружно и жить покойно, весело и роскошно, Апраксин вовсе не хотел торопиться походом. Он имел основание надеяться, что дело не дойдет до настоящей войны, что все ограничится таким же походом, каковы были походы на запад вспомогательных русских отрядов при императрице Анне и недавно при Елисавете, прогулки для возбуждения страха и ускорения мира. Кроме того, молодой двор был против войны, а идти наперекор наследнику престола и его супруге далеко не входило в планы Апраксина, да и приятель умница-канцлер на стороне молодого двора, и при прощаньи сказал, чтоб в поход не выступать до тех пор, пока все будет к нему приготовлено. Апраксин думал, что далеко еще не все приготовлено, что надобно долго и много готовиться, чтоб успешно биться с первым полководцем времени и с его образцово устроенным войском; хорошо, как австрийцы его задержат; если он обратится с главными силами против русского войска, помогут ли тогда австрийцы? Их медленность известна, и теперь двигаются ли они? С чего же канцлер взял торопить русское войско к выступлению в поход зимою, не дождавшись, что там будет у прусского короля с австрийцами? 17 февраля Апраксин пишет к Бестужеву в сильном волнении, говорит, что откажется от начальства войском, жаловался на австрийцев и оканчивал вопросом, не переменял ли канцлер своих мнений, ибо в Петербурге мнения Бестужева были известны ему, Апраксину, и во всем согласны с его собственными. Это письмо Апраксин отправил с доверенным человеком генерал-квартирмейстером Веймарном, чтоб тот хорошенько разведал у канцлера, в чем дело, зачем его так торопят. Бестужев отвечал с Веймарном, что Апраксин, по его мнению, не имеет никаких причин к неудовольствию. "Поныне еще не отказано ни одно ваше представление. Были, правда, некоторые и отчасти строгие понуждения, но ваше превосходительство приметить изволите, что

и то предавалось всегда в ваше рассмотрение и волю; а когда вы противу того представляли какие трудности или невозможности, то тотчас получали на то согласование. Справедливо, не можем мы отсюда все так видеть, как ваше превосходительство, но сообщать свои мнения тем не меньше должны. Истинно не имеет здесь никто такого кредита, чьи бы мнения и представления всегда такую скорую апробацию получали. На союзников также жаловаться нельзя: они просят, как нищие милостыни; да, правду сказать, их состояние и жалостно. О ежели б мы на их месте были и такие ж от них обнадеживания имели, какие еще при вашем превосходительстве им даны, то я смело сказать могу, что мы с ними уже поссорились бы. Но их, напротив того, молчание нам внутренне еще больше выговаривает и толь прискорбнее, что сим молчанием не дают нам поводу ни изъясниться, ни оправдаться. А самим нам вызываться истинно не с чем. На другое ж я не имею иного объявить, как крайнее мое прискорбие, что ваше превосходительство о моих сентиментах сомневаетесь. Они неотменны и прежде моей жизни не отменятся. Поставьте их на пробу. Я самую трудную для соблюдения драгоценной мне вашей дружбы выдержу. А между тем не буду спокоен, пока не уверюсь, что ваше превосходительство уверены о истинном усердии и преданности, с коими я есмь".

Вместе с своим письмом Бестужев послал еще письмо великой княгини, в котором она также просила Апраксина не медлить более. Веймарн должен был сказать фельдмаршалу, что письмо великой княгини подлинное, чтоб он ни в чем не сомневался. Апраксин сильно рассердился: он надеялся, что получит чрез Веймарна внушения от Бестужева, согласные с его собственным желанием тянуть время, и обманулся: письмо Екатерины отнимало последнюю надежду. Но с надеждами расставаться тяжело человеку. "Это все канцлеровы финты (выдумки)", - сказал он в сердцах и вынул из шкатулки другое, прежнее письмо Екатерины, сличил - одна рука! Делать было нечего больше. В ответном письме канцлеру он отстранял недоразумение, происшедшее от употреблявшегося тогда иностранного слова *сентимент*, которое означало и мнение, и чувство; Апраксин в своем прежнем письме под переменою сентиментов канцлера разумел перемену мнений, взглядов, а Бестужев счел это упреком в перемене дружеских чувств.

Только 17 мая Апраксин с главным корпусом перешел литовскую границу из Курляндии под Ямышками и 20 числа был в Шавле. 18 вступил в Литву генерал Василий Абрамович Лопухин. Кавалерия шла под начальством генералов Ливена и графа Румянцева. 4 июня войска вошли в Ковно и здесь оставались до 16 числа, потому что от сильных жаров стало умножаться число больных; кроме того, писал фельдмаршал, по причине трудных и узких дорог многое нужно исправить в обозах и отчасти переменить прежние распоряжения. 19 июня почти уже вся армия была за Неманом, 20 переправился сам фельдмаршал.

Между тем еще прежде, 18 июня, генерал Фермор, шедший из Либавы, где присоединились к нему подвезенные морем полки, переступил прусскую границу, направляясь к Мемелю, и 20 числа начал обстреливать этот город; 24 числа Мемель сдался на условии, чтоб гарнизон был выпущен с оружием.

В Царском Селе 6 июля праздновали взятие Мемеля, отправляли благодарственный молебен "за дарованное от всевышнего благословение в самом начале здешнему оружию"; но это благословение послано было отряду войска, а главная армия с фельдмаршалом Апраксиным не переступала за границы. 15 июля Бестужев опять должен был писать Апраксину: "Беспредельная моя к вашему превосходительству откровенность не позволяет мне от вас скрыть, каким образом здесь генерально весьма сожалеют, что недостаток провианта вашему превосходительству воспрепятствовал в неприятельскую землю и в дело до сих пор вступить, которым обстоятельством господин Левальд (пруссский фельдмаршал), пользуясь, уже ретироваться начал. Сие сожаление умножается еще и тем опасением, чтоб он между тем и совсем из Пруссии не ушел, что был бы такую утратою, которая завоеванием Кенигсберга и целой Пруссии награждена быть не могла б и отчего Бог знает какие толкования произошли б. Совершенное мое к вашему превосходительству усердие побуждает меня и то не утаить, что в день конференции на вечер ее императ. величество, вышед в залу, за отсутствием других ко мне, к князь Никите Юрьевичу (Трубецкому), к Александру Борисовичу (Бутурлину) и к князь Михаилу Михайловичу (Голицыну) с великим неудовольствием отзываться изволила, что ваше превосходительство так долго в Польше мешкает".

18 июля идет новое письмо от канцлера к фельдмаршалу: "Должность истинно преданного друга требует от меня вашему превосходительству, хотя с крайним сожалением и в такой же конфиденции, не скрыть, что, несмотря на всю строгость изданного в народе в вашу пользу запретительного указа, медлительство вашего марша, следовательно, и военных операций начинает здесь уже по всему городу вашему превосходительству весьма предосудительные рассуждения производить, кои даже до того простираются, что награждение обещают, кто бы российскую пропавшую армию нашел. Правда, подобные превратные толкования чинятся от незнания встречающихся вашему превосходительству в том затруднений. Но как со всем тем они вашему превосходительству всегда вредят и вредить могут, то я советовал бы, несмотря на подаваемые вам иногда с какой другой стороны в том успокоения, преодолевая по возможности случающиеся трудности, вашими маршем и операциями ускорять и тем самым выше изображенные толкования пресечь и всем рот запереть".

Наконец, от 19 июля было получено известие из главной армии, что она с 14 числа находится при Вержболове, в полумиле только от прусских

границ, и дожидается остальных войск, которые за теснотою дорог вместе идти не могли. При публикации этого известия приложены были причины, почему армия двигалась так медленно: "Великие препятствия и трудности, кои замедлили поход наш до Ковны, не могут никак в сравнение поставлены быть с теми, кои нам от Ковны до сего места преодолевать надлежало. До того места были у нас с великими изживениями запасенные магазины; и впереди благоразумие и близость прусских войск не дозволили учредить оные. Несносные жары, кои собою поход чинят трудным, лишили нас еще способа получать провиант и фураж водою, ибо оттого реки так обмелели, что суда проходить не могут. Необходимость была свозить к армии провиант на обывательских подводах, что, сколько труда, столько ж и времени требовало".

20 июля главная армия перешла прусские границы, и немедленно начались небольшие стычки с неприятелем, а между тем Фермор из Мемеля занял Тильзит и шел для соединения с фельдмаршалом; всего русского войска, вошедшего в прусские границы, по спискам до 135000 человек, но в действительности было гораздо менее.

Наконец 28 августа жители Петербурга были разбужены в четыре часа утра пушечною пальбою, насчитали 101 выстрел: накануне в 9 часов вечера в Царское Село, где жила императрица, прискакал с трубящими почтальонами курьер генерал-майор Петр Ив. Панин, привез известие о большой победе, одержанной 19 августа русским войском над прусским фельдмаршалом Левальдом на берегах Прегеля при деревне Грос-Егерсдорф. Апраксин так описывал дело.

17 числа неприятель занял лес не далее мили от русской армии с намерением мешать дальнейшему движению русских и три дня сряду показывал вид, что хочет напасть на них. 19 числа в пятом часу пополудни, когда русские начали выступать в поход и проходили через лес, неприятель также начал выступать из лесу и приближаться к русским полкам в наилучшем порядке при сильной пушечной пальбе; и через полчаса, приблизясь к русскому фронту, напал "с такою фуриею сперва на левое крыло, а потом и на правое, что писать нельзя". Огонь из мелкого ружья беспрерывно с обеих сторон продолжался около трех часов. "Я признаться должен, - писал Апраксин, - что во все то время, невзирая на мужество и храбрость как генералитета, штаб - и обер-офицеров, так и всех солдат и на великое действие новоизобретенных графом Шуваловым секретных гаубиц (которые толикую пользу приносят, что, конечно, за такой его труд он вашего императ. величества высочайшую милость и награждения заслуживает), о победе ничего решительного предвидеть нельзя было, тем паче что вашего императ. величества славное войско, находясь в марше, за множеством обозов не с такою способностью построено и употреблено быть могло, как того желалось и постановлено было". Несмотря на то, неприятель разбит, рассеян и прогнат легкими войсками через реку Прегель до прежнего его лагеря под Велау. Такой

жестокой битвы еще не бывало в Европе, по свидетельству иностранных волонтеров, особенно австрийского фельдмаршала лейтенанта С. Андрэ. С нашей стороны урон еще неизвестен; но считаются между убитыми командовавший левым крылом генерал Василий Лопухин, о котором Апраксин без слез вспомнить не мог, генерал-поручик Зыбин и бригадир Капнист; ранены генерал-лейтенанты Юрий и Матвей Ливены и Матвей Толстой; генерал-майоры - Дебоскет, Вильбуа, Мантейфель, Веймарн и бригадир Племянников; но все неопасно. Неприятель потерял 8 пушек, три гаубицы и 18 полковых пушек, пленных у него взято более 600 человек, в том числе 8 обер-офицеров, дезертиров приведено более 300 человек. О присланном с известием о победе генерал-майоре Панине Апраксин писал, что он был при нем во все время похода дежурным генералом, нес великие труды и много помогал ему, фельдмаршалу, во время сражения: куда сам фельдмаршал поспеть не мог, всюду посылал Панина для уговаривания и ободрения людей, так что тот находился в самом сильном огне. "Да и со временем, - прибавляет Апраксин, - по смелости и храбрости его великим генералом быть может; словом сказать, все вашего императ. величества подданные в вверенной мне армии при сем сражении всякий по своему званию так себя вели, как рабская должность природной их государыни требовала. Волонтеры, а именно князь Репнин и граф Брюс и Апраксин, ревностью и неустрашимостью своею також себя отличали, и потому, повергая весь генералитет (особливо всех молодых генералов, кои истинно весьма храбро поступали и в таком огне были, что под иным лошади по две убито или ранено, а генерал-майор Вильбуа хотя и ранен был в голове, однако до окончания всего дела с лошади не сошел, и обретающегося при мне волонтером голштинской его императ высочества службы поручика Надастия, который так смели храбр и толикую к службе охоту имеет, что не токмо во всех партиях и при авангарде находился, но и везде отлично и неустрашимо поступал), також штаб - и обер-офицеров и все войско к монаршеским вашего императ. величества стопам, препоручаю всевысочайшей материнской щедрости. Чужестранные волонтеры: вначале римско-императорский генерал-фельдмаршал лейтенант барон С. Андрэ с находящимися при нем штаб - и обер-офицерами весьма себя отличил, французские полковники Фитингоф, особливо же Лопиталь и саксонский полковник Ламсдорф с их офицерами також поступками своими храбрыми немалую похвалу заслужили. Что ж до меня принадлежит, то я так, как пред самим Богом, вашему величеству признаюсь, что я в такой грусти сперва находился, когда с такою фуриею и порядком неприятель нас в марше атаковал, что я за обозами вдруг не с тою пользою везде действовать мог, как расположено было, что я в такой огонь себя отваживал, где около меня гвардии сержант Курсель убит и гренадер два человека ранено, вахмейстер гусарский убит и несколько человек офицеров и гусар ранено ж, також и подо мною лошадь - одним словом, в толикой был опасности, что одна только Божия десница меня сохранила, ибо я хотел лучше своею кровью верность свою запечатать, чем неудачу какую видеть".

По характеру нашего сочинения мы не можем входить в подробности военных действий, но мы не можем не упомянуть о рассказе очевидца Болотова, где объясняется и пополняется реляция главнокомандующего. Но при этом мы не должны забывать, что имеем дело с рассказом девятнадцатилетнего офицера, написанным под влиянием последующих действий Апраксина. Сам Болотов предостерегает читателей: "Я наперед вам признаюсь, что мне самому в подробности все при том бывшие обстоятельства неизвестны, хотя я действительно сам при том был и все своими глазами видел. Да и можно ли такому маленькому человеку, каков я тогда был, знать все подробности, происходившие в армии, и когда мне, бывшему тогда по случаю ротным командиром, от места и от роты своей ни на шаг отлучиться было никуда не можно. Армию в походе не иначе как с великим и многонародным городом сравнить можно, в котором человеку, находящемуся в одном углу, конечно, всего того в подробности знать не можно, что на другом краю делается".

Несмотря на сознание, что ему, как маленькому человеку, нельзя было всего видеть и знать, Болотов охотно повторяет враждебные толки и слухи об Апраксине, да и вообще смотрит неприязненно почти на всех *командиров*. Особенно в неприятном свете выставляется один из генерал-аншефов, Георгий Ливен: "Ливен войсками не командовал, а находился при свите фельдмаршальской и придан был ему для совета и властно как в дядьки: странный поистине пример! Как бы то ни было, но он имел во всех операциях военных великое соучастие; мы не покрылись бы толиким стыдом пред всем светом, если б не было при нас сей умницы и сего мнимого философа".

Болотов согласно с реляциею рассказывает, что русская армия выступала в дальнейший поход, ибо не было никакой надежды заставить неприятеля вступить в битву; но пруссаки воспользовались движением русских и соединенным с ним беспорядком вследствие обоза и неровности почвы и напали нечаянно, не давши русским времени выстроиться. Неприятели, говорит Болотов, имели несравненно более выгод, нежели наши. Их атака введена была порядочным образом, лучшими полками и людьми и по сделанной наперед и правильно наблюдаемой диспозиции. Артиллерия их действовала как надобно; а весь тыл у них был открыт и подкреплен второю линиею и резервами, из которых им ничто не мешало весь урон в первой сражающейся линии вознаграждать ту же минуту свежими людьми; такую же возможность имели они снабжать дерущихся нужными припасами и порохом. Что касается наших, то, во-первых, диспозиции наперед никакой не было сделано, да и некогда было делать; во-вторых, людей с нашей стороны было гораздо меньше, чем с неприятельской: у них дралась целая линия, а у нас едва только одиннадцать полков могли вытянуться. К несчастью, и эти немногие люди были связаны по рукам и ногам: во-первых, с нами не было нужной артиллерии, кроме малого числа полковых пушек и шуваловских гаубиц, и что можно было из них сделать, когда большую половину их ящиков и снарядов за лесом провезти было

нельзя; во-вторых, прижаты они были к самому лесу так, что позади себя никакого простора не имели; в-третьих, помощи и на место убитых свежих людей получить было неоткуда: большая часть армии была хотя не в действии, но стояла за лесом и в таких местах, откуда до них дойти было нельзя.

Несмотря на все эти невыгоды, русские полки стояли твердо, как стена: целые два часа удерживали они натиск неприятеля. Наконец большая часть их была побита и переранена. Ряды редели: офицеров почти никого не было, не стало и пороху. В такой крайности подвинулись они поближе к лесу, но этим еще больше испортили дело: неприятель подумал, что они отступают, и бросился на них с удвоенным жаром. Генерал-аншеф Василий Абрамович Лопухин, как ни уговаривал солдат к храброй обороне, не мог ничего сделать; израненный, он попал в руки прусских гренадер, но русские гренадеры бросились и выхватили начальника только для того, чтоб он умер среди своих. Тогда русские полки, находившиеся за лесом, наскучивши стоять без дела в то время, когда товарищи их погибали, вздумали пойти *или, может быть, посланы были* продираться кое-как сквозь лес и выручать своих. Густота леса была так велика, что с нуждою и одному человеку продраться было можно; несмотря на то, полки, покинув затруднявшие их пушки и патронные ящики, бросились на голос погибающих товарищей. Тогда все переменялось: свежие полки, давши залп, с криком бросились в штыки на неприятеля, который дрогнул, хотел было построиться получше, но уже было некогда: русские сели ему на шею, по выражению Болотова, и не дали ни минуты времени; пруссаки, начавшие было сперва отступать правильно, скоро побежали без всякого порядка.

Болотов упрекает Апраксина за то, что фельдмаршал в донесении своем хвалит одних волонтеров да иностранцев и умолчал о человеке, ведшем себя действительно по-геройски, полковнике Языкове, который, несмотря на раны, с полком своим выдержал весь огонь и удержал чрезвычайно важный пост, отбив неприятеля. Мы видели, что Апраксин особенно выставил генерала Петра Ив. Панина; но в рассказе самого Болотова останавливает нас любопытное место, где говорится, как несколько полков продрались сквозь лес на помощь к своим, не могшим более выдерживать неприятельский натиск, и обратили в бегство пруссаков. У Болотова встречаем странные выражения: "Полки вздумали пойти или, может быть, посланы были". Неужели нельзя было узнать самого важного дела - кто первый вздумал, кто первый сделал движение? Если автор нехотя сказал: "Или, может быть, посланы были", то почему не договорил, что послать их и сам с ними идти должен был их генерал граф Румянцев. Сказать это, как видно, было очень тяжело "маленькому человеку", который очень неосторожно выказывает свое старание отнять у *командиров* всякое участие в успехе дела. "Баталия была столь стесненная и спутанная, - толкует он, - что никому из командиров ничего сделать было не можно". Но один командир погиб, исполняя свою обязанность; а другой, двинув

свежие полки из леса, дал победу. Неужели Болотов, осведомляясь о подробностях битвы, не осведомился об одном: где был генерал Румянцев в то время, когда его полки выигрывали Грос-Егерсдорфскую победу?

Любопытно, что Болотов, упрекая пруссаков за неверные описания битвы, хвалит самого короля Фридриха II, который, по его словам, "говорит всех прочих справедливее и описывает баталию почти точно так, как она происходила", кроме уменьшения потерь с прусской стороны и показания числа войска, бывшего у Левальда. Но Фридрих II вот что говорит в своих записках о Грос-Егерсдорфской битве: "Левальд атаковал лес, где находились русские гренадеры; эти гренадеры были разбиты и почти все истреблены; но им на помощь Румянцев двинул 20 батальонов второй русской линии: он ударил во фланг и в тыл прусской пехоты, которая принуждена была отступить".

Апраксин оканчивал свое донесение о победе словами: "Теперь мне более не остается, как неусыпное старание приложить о вящих прогрессах для достижения всевысочайшего намерения". Но в Петербурге все дождались от него известий о вящих прогрессах.

От 13 сентября коллегия Иностранных дел получила такой указ: "После одержанной в 19 день минувшего месяца над прусскою армиею победы армия наша немедленно далее маршировала, и так, что к Алленбургу приближалась в таком намерении, чтоб вторичную дать баталию, но неприятель, несмотря на свое весьма выгодное и весьма крепкое за рекою Алом положение, не отважился обождать атаки, но паче скоропостижно под пушки Кенигсберга ретировался, оставляя всюду знаки крайнего и беспримерного свирепства над собственными своими подданными и лишая оных последнего пропитания. А как потому нашей победоносной армии в дальнем марше недостаток в провианте и фураже причинен, да оттого и подвоз оного труден стал, то наш генерал-фельдмаршал Апраксин за нужное рассудил вместо того, чтоб дальнейшим в разоренную землю вступлением известному голоду подвергнуть армию, повернуться на время ближе к магазинам, лежащим по реке Неману, дабы, там оставя больных и прочие в походе беспокоивающие тягости, вновь с лучшим успехом продолжать свои операции, как то самым делом вскоре показано будет. Коллегия Иностранных дел имеет сие прямое состояние дел в Пруссии как союзным с нами дворам, так и везде, где надлежит толь паче дать знать, что с прусской стороны, конечно, оставлено не будет тому совсем другое истолкование сделать".

От 25 сентября другой указ: "Мы имели причину надеяться, что генерал-фельдмаршал Апраксин, конечно, не замедлит возобновить свои операции; мы тогда ж наикрепчайше подтвердили ему ускорить оными. Но к крайнему нашему сожалению, получили мы новое от него доношение, что армия наша, прибыв к Тильзиту, хотя и снабдила себя двунедельным провиантом, однако ж помянутый наш фельдмаршал тем не меньше

принужденным себя видел чрез реку Неман переправиться, дабы от таких мест ближе быть, где армию удобнее б на зимние квартиры расположить можно было. Причины, побудившие к сему новому намерению, так важны, что непризнаваемы быть не могут. Армия наша по претерпении сперва в походе таких великих беспрестанно жаров, каким в здешнем климате примера не бывало, вдруг подвержена была в весьма низкой земле претерпевать с четыре недели и паки непрестанно продолжавшиеся дожди. Легко притом можно рассудить, что в таком случае болезни не могли как весьма умножиться, а число слабых и крайне велико быть. Конница, которая с начала весны ведена была с Украины и других отдаленных мест и такой марш сделала, которому в других местах, конечно, примера нет, имела уже и тем одним изнурена быть; но к большому несчастью, известным образом в нынешнем году недостаток фуража и в самой Польше почти генеральным был, и по вступлении в Пруссию сей недостаток столь умножился, что часто посылаемыми больше как за 20 верст фуражирами не найдено совсем ничего оного. Легко потому рассудить, каково имеет быть состояние помянутой конницы и что дальнейшее ее в истощенной земле пребывание было бы известною ее только погибелью без всякой, напротив того, уповаемой пользы. Сверх всего того хотя и нет недостатка в провиантских магазинах, однако ж по мере удаления от оных армии становится крайне трудным или и весьма невозможным подвоз из оных. При таком состоянии дел справедливо мог наш фельдмаршал рассудить, что не токмо для нас, но и для самих союзников наших несравненно полезнее сохранить к будущей кампании изрядную армию, нежели напрасно подвергать оную таким опасностям, которые ни храбростью, ни мужеством, ни человеческими силами отвращены быть не могут. Мы знаем, что с прусской стороны будет всему тому учинено другое истолкование и, может быть, самым индифферентным не покажется сие обыкновенно, что победоносная армия оставляет побежденному неприятелю завоеванную у него землю; но, ведая, напротив того, что прямая тому причина - недостаток фуража и крайняя трудность в пропитании армии и что не оставляется неприятелю таких мест, откуда б он мог воспрепятствовать и паки в земли его вступить, могли б совершенно спокойны быть, какие бы притом с прусской стороны разглашения ни были, толь паче, что мы уверены, что союзники наши не будут притом сомневаться о непоколебимости наших намерений и непременно желании с ними содействовать. Но великодушные наше и прямое союзническое о интересах их попечение превышают все вышеизображенные уважения, почему мы сколь скоро сие последнее нам неприятное известие получили, что наш фельдмаршал и Неман-реку переходить намерен, то еще повелели ему всевозможное в действо употребить, дабы удержать себя в Пруссии и, буде случай будет, неприятеля атаковать".

Но повеление не было исполнено. 28 сентября в армии держан был военный совет, на котором решено отступить за Неман. Посылая в Петербург журнал военного совета, Апраксин писал от 30 сентября: "Суровость времени и недостаток в здешней земле провианта и фуража,

равно как изнуренная совсем кавалерия и изнемогшая пехота, суть важнейшими причинами, кои меня побудили, для соблюдения вверенной мне армии, принять резолюцию чрез реку Неман перебраться и к своим границам приблизиться. Сие самое препятствием было над побежденным неприятелем дальнейшие прогрессы производить. Он, хотя по учиненной с моей стороны при Але-реке стратажеме в левую руку к Аленбургу, не обождав ни перехода с армиею через реку, ниже атаки, из виду и ретировался, однако не совсем побежал, но для того только сию ретираду учинил, чтоб, опасаясь моего прямо к Кенигсбергу чрез Аленбург следования, лучшее и крепчайшее место, каковых у него от реки Алы до Кенигсберга несколько заготовлено, занять и проходу моему тем более препятствовать мог. По такой его ретираде уведомясь заподлинно о положении укрепленных до Кенигсберга мест, взятие которых много людей стоило б, и явившееся оскуднение запасного провианта, паче же недостаток фуража в истощенной неприятелем земле, ибо в Кенигсберге шефель муки по семи талеров продавался, с общего согласия всего генералитета поворот учинен к Тильзиту в таком намерении, чтоб, исправясь тамо, паки вперед продвинуться. Но, нашед в Тильзите многие главнейшие и человеческим разумом непреодолимые препятствия от рановременных по здешнему климату ненастей и морозов и не могучи воли Божией противиться, с наичувствительнейшим моим и всего генералитета сокрушенном, не в сходство высочайшую вашего величества намерения и в противность нашего искреннейшего желания поступить и сие к границам приближение за лучший к соблюдению армии способ тем паче избрать принужден был, что, удержав Тильзит и реку Неман, також, расположа армию в сей завоеванной Пруссии, так от недостатка провианта и фуража, как и от разделения по частям армии для сбережения завоеванных мест конечная гибель всему войску нанесена была б. Невзирая на то что в Мемеле провианта довольно, которого доставление к армии невозможно ни гафом, ни сухим путем: гафом, потому что на десяти галерах и прочих мелких судах, кои к тому способными найдены и во всей той стороне собраны быть могли, умалчивая о том затруднении, что чрез Шварцер-орт за мелью всякую галеру, выгрузя, перетаскивать надобно, не более 1500 четвертей уложиться может, а сухим путем за крайнею в здешней земле и Жмуидах в осеннее время по низости ситуации распутицею ничего подвозить нельзя, рекою же Неманом за кривым течением оной и многими мелями, по причине которых от большей части к неприятельскому берегу вверх по реке плыть и приставать должно, весьма опасно. Что же принадлежит до добровольного здешних обывателей подвержения в подданство вашего величества, то принятое ими намерение принужденным почестъ должно, как то действительно и оказалось, ибо многие, только что успели присягу принести и тем себя обнадежить, тотчас против нас и вооружились, да иначе и ожидать нельзя, ибо должность к природному государю натурально их на то влечет, а сверх того, всем обывателям, особливо же в городах живущим, от начальства повелено, себя разорению не подвергая, оружие вашему покориться, истолковав им притом, что

чинимая по такой крайности присяга без угрызения совести всегда нарушена быть может".

Сильные вопли французского и австрийского послов против Апраксина, жалобы на него генерала С. Андрэ заставляли посылать к нему грозные указы. Апраксин писал императрице 6 октября: "Высочайший указ, мною вчерась полученный, что больше я читал, толь более умножался во мне трепет и отчаяние. Севодни собранному для держания совета всему генералитету я при объявлении того указа принял дерзновение предложить, ежели они примечают, что я есть настоящим препятствием подачи их свободных в советах мнений или причиною к неисполнению ваших высоких мне повелений, то чтоб они приговорили не только от меня главную команду кому принять, но и шпагу свою их присутствию отдавал; но они во мне никакого к тому преступления не нашли и оттого отреклись".

Между тем генералу Фермору, которому более других доверяли, послано было в Мемель приказание отвечать откровенно по пунктам о положении армии и о действиях фельдмаршала. Фермор отвечал 14 октября: "Как пред Богом вашему импер. величеству по сущей правде на повеленные пункты своеручным письмом рабски доношу: 1) до баталии за 12 дней армию людьми нашел я в добром состоянии, а лошадей под кавалериею и артиллериею и полковыми тягостями уже в слабом состоянии; по наступившим же дождям и великим грязям день от дня в совершенную худобу пришли, а по прибытии к реке Але уже и валиться начали; ныне же от дальнего и трудного похода и ненастливой погоды как люди большею частью в немалой слабости, а лошади в негодности находятся, и затем с желаемым успехом военных операций произвести невозможно. 2) Причины отступления армии к ее магазинам суть следующие: недостаток людям и лошадям субсистенции, и хотя б неприятель вторично разбит и Кенигсберг взят был, то, не имея готовых магазинов, войска пропитать нечем было, а в таком противном случае аще бы под закрытием прусского войска блокада города продолжалась, то б за недостатком принуждены были отступить и тем полученную славу умалить. 3) Армию на зимние квартиры в неприятельской земле расположить, пока неприятельская армия совсем разбита или прогнана не будет, способов представить не можно, кроме предпринятых по крайнему разумению от всего генералитета".

Но вопли французского и австрийского министров против Апраксина не уменьшались, и, несмотря на объяснения Фермора, решено было сменить фельдмаршала и отдать главное начальство тому же Фермору, который заявлял свое участие и сочувствие распоряжениям Апраксина как сделанным с общего согласия всего генералитета. 16 октября Иностранной коллегии дан был указ для сообщения министрам союзных дворов: "Предпринятая единожды без указу нашим генералом-фельдмаршалом Апраксиным ретирада тем больше неприятные произвела по себе следствия, что мы оной предвидеть и потому и предупредить не могли, наступившее же ныне паче всех лет толь рано суровое и почти самое уже

зимнее время делает бесплодными все наши усиления поправить их вскорости. Сверх натурально великого прискорбия видеть такое предприятие замедленным и на время весьма остановленным, которое, казалось, не могло не иметь пожеланного успеха, мы чувствуем оттого еще большее огорчение, что 1) операция нашей армии генерально не соответствовала нашему желанию, ниже тем декларациям и обнадеживаниям, кои мы учинили нашим союзникам, - замедлившееся окончание кампании наградить скоростию и силою воинских действий, что 2), положась на доношение нашего фельдмаршала, свету объявили, что поворот нашей армии к магазинам делается только на время и операции вновь с лучшим успехом начнутся и что, наконец, 3) рескриптом нашим от 25 числа минувшего месяца вновь подали мы союзникам нашим надежду, что армия наша все возможное употребит в Пруссии себя удержать и, если случай будет, неприятеля атаковать. Происшествие показало, что ни то, ни другое сделаться не могло. Как бы ни было, наше намерение тем не менее твердо и непоколебимо от согласенных мер нимало не отступить, и как к сему наиглавнейше принадлежит испытать прямые причины, отчего поход нашей армии сперва медлителен был, а потом она и весьма ретироваться принуждена была, дабы потому толь надежнее потребные меры взять можно было, то мы за нужно рассудили, команду над армиею у фельдмаршала Апраксина взяв, поручить оную генералу Фермору, а его (Апраксина) сюда к ответу позвать".

Это заявление должно было успокоить венский двор; но в конце года было еще неприятное объяснение у Кейзерлинга с Кауницем. В ноябре Кейзерлинг получил рескрипт императрицы, повелевавшей ему сообщить австрийскому правительству жалобы православных сербов на гонения за веру. Кейзерлинг начал свой разговор с Кауницем о том, что хотя русская императрица всегда удаляется от вмешательства во внутренние дела чужих государств, однако она не может не ходатайствовать за своих единоверцев, терпящих нужду и притеснения. Она уверена, что императрица-королева об этом не знает, и потому он, Кейзерлинг, должен сообщить канцлеру: 1) в 1754 году в Кроации и прочих областях опубликовано, чтоб все исповедующие греческий закон оставили его и приняли римско-католическую веру, в противном случае будут осуждены на виселицу и четвертование. 2) Греческий закон и исповедующих его поносят самым бесчестным образом, называют их неверными и отпадшими; но так называют язычников, а не людей, верующих во Христа и Его апостолов. 3) Командующий в Кроации, Далмации и Трансильвании граф Петацы отнял у греческих прихожан Архангеломихайловский монастырь, отчего впоследствии, 4) что сербы лишены исповеди и св. причастия и принуждены жить в отчаянии. 5) Неуважение к святейшим вещам простирается так далеко, что некоторые католики во время освящения св. евхаристия в греческих церквах взлезают на алтарь и делают всякие непристойности, а в кадилницы кладут вовсе не благовонные вещи. 6) Службу Божию часто останавливают, приходят в церкви с заряженными ружьями, стреляют и таким образом заставляют прихожан покидать храмы.

7) Оскверняют храмы, позволяя себе в них такие дела, которые и в законных супружествах не дозволяются. 8) Стараются всякими мерами привлечь православных к принятию унии: те, которые непоколебимы в своем законе, принуждены оставить жен, детей, имение или, подвергнуться смертной казни как государственные преступники.

Кауниц отвечал на это письменно: "Мнение господина посла о том, что жалобы на притеснения людей греческого исповедания не достигли к престолу нашей государыни, совершенно справедливо; но по этой самой причине означенные жалобы подозрительны, потому что с священным между государем и подданными союзом согласнее, чтоб обиженные прежде прибегали к своему природному государю и от него ожидали прекращения своим бедам. Императрица-королева велела разведать о деле, и жалобы оказались совершенно ложными, так что само греческое духовенство пришло в изумление и рассердилось. Безбожные люди утруждают этими жалобами императрицу всероссийскую только для того, чтоб в наследных землях императрицы-королевы возбудить непослушание и беспокойство и, если возможно, расстроить тесный союз между обоими императорскими дворами".

В начале года английское министерство все еще толковало о том, отчего бы России не быть посредницею между Австриею и Пруссиею. Русский посланник князь Александр Голицын сообщил своему двору о разговоре своем с графом Голдернесом. "Я не могу надивиться, - начал Голдернес, - что при вашем дворе так неблагоклонно принимается предложение взять на себя посредничество между венским и берлинским дворами: ведь этот поступок не может означать ничего другого, кроме полного доверия к вашей императрице". "Если ее императ. величество уже раз объявила, - отвечал Голицын, - что она намерена точно и верно выполнить обязательства, заключенные с императрицею-королевою, то возобновление предложения со стороны кавалера Уильямса, без сомнения, должно было показаться при нашем дворе гораздо страннее, чем отвержение медиации должно было показаться при вашем. Ясно, что это предложение происходит не от дружеского доверия прусского короля, но от желания выиграть время и чем-нибудь возбудить недоверие между союзными дворами, причем употреблены и угрозы, что иначе король прусский немедленно нападет на русские войска. Такие неприличные угрозы чрезвычайно удивительны, если принять во внимание, с одной стороны, благополучное состояние Российской империи, а с другой - что эти угрозы получают чрез великобританского посла". Тут Голдернес перебил Голицына. "В этом последнем пункте, - сказал он, - я с вами совершенно согласен и могу прибавить, что Уильямс поступил таким образом не только не по указу отсюда, но в последних депешах своих запирается, что никогда никаких угроз не передавал. Впрочем, каждый двор может судить своих министров только по их собственным доношениям, и так как Уильямс очень слабого здоровья и петербургский климат ему положительно вреден, то было бы бесчеловечно держать его долее при русском дворе".

Голицыну велено было распространяться при всяком удобном случае о жестокостях, которые прусские войска позволяют себе в Саксонии, и прибавлять, что Фридрих II со временем может в этом раскаяться, ибо он грабительствами своими уже наперед оправдал все то, что может случиться в его владениях от нерегулярных русских войск; впрочем, что бы ни случилось, едва ли козаки и калмыки сравняются в свирепости с прусскими солдатами. По поводу этих повелений Голицын писал в Петербург: "Без сомнения, здесь удивляться не будут, если русские нерегулярные войска сделают в Пруссии что-нибудь несогласное с воинскою дисциплиною; здешняя публика мало заботится о разорении прусских областей, лишь бы только прусский король имел успех против австрийцев, защищал Ганновер и, наконец, мог действовать против Франции, а для прусских военных успехов гораздо важнее содержать войско на счет Саксонии, чем сохранить от разорения некоторые собственные области".

В мае Голицын писал своему двору, что успехи прусского короля усиливают гордость английского народа и ободряют английский двор, который начинает почитать себя счастливым, что вступил с Фридрихом II в такой тесный союз и променял на него своих прежних союзников; надеются, что он, безопасный со стороны Австрии, с таким же успехом будет действовать и против Франции. Благонамеренные и беспристрастные люди жалеют, что слепое счастье заставляет английский двор давать веру таким гаданиям. Несмотря, однако, на это, в Англии считали нужным сохранять с Россиею дружеские отношения. По указу от своего двора кн. Голицын дал знать графу Голдернесу, что хотя императрица никогда не жаловалась на посла Уильямса, однако скрыть не может, что ей приятно было уведомиться о королевском намерении отозвать его; но так как вместо ожидаемого отъезда Уильямс стал показывать вид, что хочет пробыть в Петербурге еще целое лето, то императрице также неудобно скрыть, что дальнейшее пребывание его при высочайшем дворе ни ей удовольствия, ни королевским делам никакого успеха не принесет и разве только к тому послужит, что заключение торгового договора отложится на долгое время вследствие нежелания иметь дело с таким министром, который более старается оказывать некстати свое проворство, чем помогать делу праводушием и твердостью и сохранять доброе согласие между дворами. В заключение Голицын прибавил, что кого бы и с каким бы министерским характером король на место Уильямса ни прислал, императрице каждый одинаково будет приятен. Голдернес отвечал, что при его дворе не сомневались насчет дурного расположения императрицы к Уильямсу, когда узнали, что ведение дела о торговом договоре поручено было вместо него барону Вольфу, поэтому, равно как и по причине его расстроенного здоровья, решено было отозвать его из Петербурга; однако, не имея возможности до сих пор сыскать достойного ему преемника, велели ему отложить свой отъезд из Петербурга, чтоб двор императрицы не остался без английского министра; но если у него, князя Голицына, имеется указ да если бы даже и без указа сделано было простое внушение, что пребывание Уильямса никакого удовольствия императрице не

принесет, то из Лондона немедленно пошел бы к нему указ поспешить отъездом из Петербурга. Потом, уведомив Голицына, что уже послан Уильямсу указ о немедленном выезде из Петербурга, Голдернес от имени короля уверял, что его величество искренно желает сохранения дружбы с императрицею, несмотря на то что обстоятельства заставили оба двора разрозниться в своих действиях. Но в июне Голицын получил от Голдернеса такую декларацию: "Предъявленные всероссийскою императрицею при разных дворах угрозы против короля прусского возбудили в его величестве короле великобританском сильное прискорбие. Императрица не может сомневаться в истинной дружбе короля. Его великобританское величество возобновляет наисильнейшее обнадеживание в этой дружбе и надеется подать новый опыт ее дружественным представлением о следствиях, которые будут иметь неприятельские поступки России против Пруссии. Его величество надеется, что императрица прежде приступления к неприятельским действиям обратит внимание на его обязанность защищать торговлю своих подданных на Балтийском море и выполнить обязательства, заключенные с королем прусским. Эти обязательства состоят в том, что Англия и Пруссия соединяют свои силы для воспрепятствования какой бы то ни было державе ввести свои войска в Германию". В июне Фридрих II потерпел неудачу, и в Англии произошла сильная тревога. Голицын писал, что соединения английских войск с прусскими бояться нечего по той простой причине, что у англичан нет войска, едва ли и английский флот явится в Балтийском море, хотя слухи об этом и ходят. Компания торгующих с Россиею купцов отправила к графу Голдернесу депутацию с представлением, что отправление флота в Балтийское море несогласно с интересом английского народа, потому что может окончательно рассорить его с Россиею к крайнему вреду для английской торговли, которого новые союзники Англии вознаградить не в состоянии. Голдернес отвечал, что он думает совершенно согласно с ними: король сильно желает сохранить дружбу с Россиею и намерен вместо Уильямса отправить в Петербург Кейта, бывшего до сих пор послом в Вене; что же касается слухов об отправлении эскадры в Балтийское море, то король окончательного решения по этому предмету еще не принял.

Между тем декларация, врученная Голдернесом Голицыну об английских обязательствах относительно Пруссии, вызвала такой рескрипт императрицы, посланный 30 июня в Иностранную коллегию: "Декларация, данная нашему посланнику князю Голицыну, удивила нас более формою своею, чем содержанием. Еще очень недавно граф Голдернес заявлял князю Голицыну, что хотя английский двор и будет помогать королю прусскому, только не против России. Причин такой внезапной перемены и нескладной смеси уверений в истинной дружбе и угроз, сносить которые мы меньше всего привыкли, нам нет нужды рассматривать. Если английский двор позволил себе эти угрозы, возгордившись победою, одержанною прусским королем под Прагою, то теперь, быть может, раскаивается, узнавши о перемене дел в Богемии и Вестфалии; если он

надеялся этою декларациею хотя не испугать нас, но привести в некоторое размышление, то обманулся. Так как, вероятно, английский двор сообщит о своем поступке прусскому королю, а тот преувеличит его значение и употребит в свою пользу, то повелеваем предписать князю Голицыну дать такой ответ английскому министерству: после недавних уверений в дружбе со стороны английского правительства мы ожидали совершенно других опытов этой дружбы, а не чего-либо вроде помянутой декларации. Если бы британское величество перед началом войны приложил равное нашему старание о ее предотвращении, то теперь, быть может, не было бы нужды упоминать о тех следствиях, которыми угрожает декларация и которые всегда будут приписаны королю прусскому как зачинщику нынешних замешательств в Германии. Мы исполняем только наши обязательства, и если они теперь распространены, то это заранее оправдано опасностью для всех соседей от предприимчивости короля прусского. Мы приказали войскам нашим действовать сухим путем и морем против войск и областей короля прусского, ибо не оставалось другого средства подать помощь нашим союзникам, подвергшимся несправедливому нападению. Блокировать с моря такие места, которые преднамеренно осадить с сухого пути, так согласно с военными правилами и всюду употребительно, что мы не видим, почему бы его британское величество мог счесть своим долгом защищать мореплавание своих подданных в Балтийском море, когда формально обнадежен с нашей стороны, что мы намерены особенно покровительствовать их торговле. Что же касается обязательства Англии и Пруссии противиться вступлению иностранных войск в Германию, то предъявление его меньше всего может удержать нас от исполнения своих обязательств и оправдать поступок, который мог бы быть сделан против этого с английской стороны. Главная цель договора, заключенного между Англиею и Пруссиею, состояла в сохранении общей тишины в Германии, но это самое ни одною из договаривавшихся сторон не исполнено: король прусский первый начал войну, а Англия не старалась удержать его от нее. А когда этот главный, важнейший пункт пренебрежен, то непонятно, каким образом стараются ввести новое право противиться вступлению иностранных войск в Германию, чтоб дать возможность сильнейшему располагать в ней по произволу и теснить слабых, которые будут лишены всякой помощи. Мы ничего не изменим в наших намерениях и объявляем прямо наши мнения: так как мы до сих пор усердно старались и стараемся отделять английские интересы от прусских, то надеемся, что Англия не пристанет к недобрым желанием прусского короля против нас. В противном же случае, а именно если бы с английской стороны каким бы то ни было образом оказано было хотя наималейшее действие против нашего войска или флота, то мы примем это за нарушение всех донныне между нами и Англиею существующих договоров и за явный разрыв мира со стороны Англии, вследствие чего не оставим принять меры, сходственные с нашею честью и достоинством". Когда эта декларация была передана Голицыным Голдернесу, тот объявил, что так как она служит ответом на английскую декларацию, то отвечать на нее теперь нечего; но король

надеется, что императрица останется с ним в такой дружбе, какую он питает к ней.

Англии нельзя было ничего сделать для своего нового союзника и в Швеции, которую Австрия, Франция и Россия увлекали в войну против Пруссии. Панин по указу своего двора объявил сенатору Гепкину, что императрица с особенным удовольствием услышит об успехе переговоров цесарского и французского послов в Стокгольме и что шведский король не может ничем больше усилить дружбу с Россией и укрепить на прочнейшем основании равновесия нарушенное спокойствие Севера, как согласим на те меры, которые ему будут предложены от упомянутых дворов. Для того чтоб побудить Швецию согласиться на эти меры, императрица не только позволила вывезти 10000 четвертей хлеба из России в Швецию, но и подарила этот хлеб королю, что было особенно важно, когда некоторые шведские области страдали от голода. Но этот поступок произвел в Стокгольме совершенно другое впечатление, чем какого ожидали в Петербурге. Сенатор Гепкин объявил королю, что хотя русский подарок сделан его величеству, но Сенат не может скрыть, что 1) такой подарок делает короля должником пред императрицею в тягость Швеции, которая не в состоянии отблагодарить Россию равным образом; 2) при этом случае надобно последовать примеру Португалии, которая возвратила назад денежный подарок, присланный ей от английского двора после землетрясения, и за доставленные тем же двором съестные припасы заплатила деньги; 3) отказ его величества принять подарок Сенат приправит таким комплиментом, что императрица никак не рассердится. Король дал знать об этом Панину чрез одного приятеля, закливыши посланника честным словом не проговориться, чтоб не испортить еще более отношений его, короля, к Сенату. Гепкин объявил Панину, не угодно ли ему испросить аудиенции у короля для того, чтоб известить его о подарке. Панин понял, что Сенат хочет сложить всю вину отказа на короля, и потому сказал Гепкину: "Не могу скрыть удивления, слыша, как вы отделяете короля от короны. Мне неприлично касаться внутренних ваших постановлений относительно королевской власти: каждая свободная нация имеет свои уставы, но государи относительно друг друга требуют равных прав и преимуществ. У вас самих предписано, чтоб все публичные дела, а особливо с чужестранными дворами, производимы были от одного королевского имени, а если б было иначе, то сами легко поймете, сколько бы произошло отсюда неприятных затруднений. Англия представляет нам такой же пример: ее правительство так же составное, как и шведское, но еще ни один чужестранный двор, не желая ей досадить, не показал различия между ее королем и короною. Вот почему и моя всемилостивейшая государыня препровождает свой подарок королю как главе нации для раздачи бедным шведам, нисколько не разделяя короля от короны шведской. Что же касается аудиенции, то я не имею никакого права ее требовать, ибо двор мой известил о подарке прямо шведского посланника в Петербурге барона Поссе, о чем мне только сообщено". Гепкин, выслушав все это с пасмурным видом, отвечал: "Все это правда, но

припомните, что во многих актах говорится: король и корона шведская, а в настоящем случае записка с сообщением одного знака государевой дружбы в виде помощи соседственному народу не имеет достаточного значения публичного акта". Сказав это, он завел речь о посторонних делах.

Два дня спустя после этого разговора Гепкин представил королю, что Сенат не может обсуждать дела о русском подарке, так как он сделан собственно королю и потому зависит от одной королевской воли принять или не принять его. Тут король дал ему своеручную записку для внесения в Сенат, в которой говорилось, что, принимая во внимание такой великий хлебный недостаток в государстве, король считает своим долгом с признательностью принять подарок; впрочем, передает свое мнение на сенатское рассуждение и сделает так, как решит большинство сенаторских голосов. Известия из областей о голоде и требование помощи у правительства заставили Сенат согласиться на принятие подарка, и король, пригласив Панина в кабинет, сказал ему: "Я подарок ее император. величества принимаю с совершенною благодарностью; я рад, что господин Гепкин не заблагорассудил сюда войти; вероятно, по его мнению, и в этой моей благодарности шведская корона не участвует; вам уже известно, какие приемы употреблялись для того, чтоб при этом, как и при всех других случаях, произвести холодность между императрицею и мною; старались сложить на меня неприятность отказа; но я прямо сказал сенатору Гепкину, что без формального сенатского решения отказа на себя не перейму, чтоб они почувствовались, поняли, как неприятно может быть императрице, что они благоволение ее к шведскому народу так превращают, проводя различие между мною и государством; этого различия императрица никогда не признает, в чем я уверен, имев самые удостоверительные опыты ее материнского обо мне попечения".

Вслед за тем Гепкин дал ответ Панину на внушение его о принятии Швециею французских и австрийских предложений. "Шведский двор, - говорил Гепкин, - искренно желает успеха общему доброму делу и охотно б ему помог; но теперь принять деятельное участие в войне король и Сенат считают невозможным, не подвергая очевидной опасности своих померанских владений, находящихся, как известно, без обороны, перевезти же за море войска для защиты Померании нет теперь физической возможности, хотя бы на то миллионы были употреблены. Как только Швеция теперь осмелится принять участие в войне и объявит об этом на германском сейме, так прусский король по своему положению и нраву сейчас овладеет Помераниею и подвергнет ее одинакой участи с Саксониєю". После этого Гепкин распространился о своем нерасположении к Пруссии. "Я, - говорил он, - никогда пруссаком не был; Фридриха II я считаю самым опасным из всех настоящих и бывших европейских государей. Известный всем его образ мыслей, крайность военных начал, бесчеловечные и ужасные правила внутреннего управления и варварские истолкования международных прав должны возбудить против него всю Европу".

Русским посланникам было легко действовать против Фридриха II; они к этому привыкли; но было очень трудно войти в дружелюбные отношения к французскому двору, которого так давно привыкли не отделять от прусского в их враждебности против России. Панин, подобно Корфу, не думал, чтоб в Петербурге так круто повернулось дело, и, привыкнув сообразоваться со взглядами канцлера, писал, что декларация Франции об обязанности своей сохранить ручательство Вестфальского мира сделает войну всеобщую, а решение дел само собою передастся в руки Франции, которая получит преобладающее положение вследствие ослабления морских держав, не могущих более поддерживать равновесие. В ответ на это Панин получил гневный рескрипт, поправленный рукою Воронцова: "Мы не можем скрыть, что такие самопроизвольные ваши рассуждения нам весьма странными показались, тогда как вы о восстановлении между нами и Франциею доброго согласия уведомяны, так же как и о намерениях наших при нынешних обстоятельствах. Наше высочайшее соизволение и точное вам повеление есть, чтоб вы по всеподданнической должности вашей вперед с большею осторожностью и согласно с намерениями нашими о делах рассуждали и поступали". Канцлер по этому поводу написал Панину: "Я вашему превосходительству уже остерегал, чтоб вы в реляциях ваших рассуждения свои как возможно сокращали и доносили только об исполнении посылаемых к вам рескриптов, ибо при нынешних прменявшихся конъюнктурах весьма легко случиться может, что министр рассуждениями своими, кои иногда противными быть покажутся принимаемым здесь мерам, вместо уповаемой апробации заслужит себе великий выговор. Сие недавно и действительно воспоследовало с бароном Корфом: он, распространяясь в своих рассуждениях о старой системе и выхваля тех, кто оной еще держится, отправлен к нему рескрипт с таким жестоким за то выговором, что жесточее того почти и написать нельзя было. В конференции, в которой я по болезни не был, состоялась резолюция вам такой же выговор учинить, как и барону Корфу; я всевозможнейше старался оный совсем отворотить, но в том предупредить никак нельзя было. Со всем тем, однако ж, до того довел, что оный гораздо легче сочинен. При сих обстоятельствах для избежания подобных выговоров за такие единственно от ревности происходящие рассуждения нет лучшего средства, как только, исполняя точно посылаемые рескрипты, о том доносить, не вступая притом в пространные рассуждения. Правда, таким образом не мог бы ревностный министр и верный сын отечества усерднейшие свои сентименты изъявить и тем совесть свою пред Богом и государем очистить, но есть тому способ самый надежнейший, по моему мнению: когда б по обстоятельствам, какие иногда важные рассуждения в голову вселялись, можно оные, не обвиняя в реляциях своих, описывать со всем, давая им только такой вид, якоб они от третьего происходили. Таким образом, как совесть своя очищена, так и опасность выговоров избежена была б, хотя б донесенные рассуждения и не приобрели здесь апробации". Панин отвечал Бестужеву жалобами на свои горькие и стесненные обстоятельства: "Не знаю, что начать боюсь сойти с ума. Могу

ли я сохранять твердость и противиться упадку духа, когда беспрестанно представляются глазам самые горестные последствия, а домашнее разорение уже грозит потерей чести? Все это происходит при таких обстоятельствах, когда я от всей коллегии вижу над собою ковы, и нет сомнения, что они твердо решились искоренить меня. Клянусь совестью, что счел бы себя счастливым, если б представился случай честною смертью избавить себя от их рук".

Панину было снова предписано содействовать австро-французским переговорам с Швециею об отправлении шведского войска в Померанию для действия против пруссаков. Вследствие этого в июле Панин представил Гепкину, как необходимо для Швеции этою же осенью начать военные действия, следствием которых будет приобретение Прусской Померании, ибо Фридрих II занят с австрийцами, а фельдмаршал Левальд не может помочь Померании, не поставив себя между двух огней - между шведским и русским войском. Гепкин отвечал, что для начатия военных действий Швеция ждет только окончательных известий от венского и версальского дворов относительно субсидий, без которых Швеция не может вести войны. В начале августа Панин донес, что соглашение о начатии шведами войны состоялось, сделано распоряжение согласно с операциями фельдмаршала Апраксина и прусский посланник Сольмс выехал из Стокгольма. По этому поводу канцлер Бестужев писал Панину, зачем тот не доносит о мнениях короля и королевы относительно всех этих событий, тогда как в Петербурге очень желают знать об этом, особенно о королеве, как она относится к перемене политики, к войне против ее брата. "Я советовал бы вам, - писал Бестужев, - как возможно о том разведывая, прямо в ваших реляциях доносить, избегая, однако ж, во всем, сколько возможно, иностранных слов, что здесь некоторые критикуют". Панин отвечал: "У шведского короля не осталось теперь ничего королевского, кроме имени, а в публике и имени величества почти ему не остается. Супруга его точно так же поражена, да и надобно признать, что едва ли кем-нибудь счастье играло больше, чем ею. В продолжение нескольких лет эта государыня выдержала внутреннюю борьбу между интересом своего мужа и наследственными прусскими привязанностями, которые соединились с предубеждением в пользу Франции, внушенным ей графом Тессинем и его приятелями. Но только что она отреклась от Франции и прусских интересов и приняла твердое намерение содействовать восстановлению в Швеции старой системы морских держав, как брат ее кинулся в ту же сторону. Это снова возбудило ее нежность к брату, тем более что Фридрих II стал в холодные отношения к Франции, ненависть к которой дошла в ней до высшей степени, потому что благодаря Франции вражда между шведскими вельможами и двором доведена была до крайности; сила и власть сенаторов в народе подкрепляется теперь Франциею; французский посол - друг вельмож и гонитель двора. Описать нельзя грубость, с какою сенаторы ведут себя относительно королевы; довольно сказать, что со времени сейма они не входят в ее комнаты, с того же времени сенаторши - Тессин и Гепкин - перестали ездить ко двору, а

прошлою зимой в Сенате уговаривались, чтоб и все другие сенаторши последовали их примеру, так что ко двору ездят только две знатные дамы - графини Бонде и Цедеркрейц. Правда, королева подала к тому повод холодным приемом некоторых из них или, точнее сказать, переменою своего обращения с ними, когда они и мужа их восстали против нее; но можно ли ее за это винить? Нет тех нелепостей, каких бы о ней в публике не разглашали. Короля считают совершенно неспособным, и имени его в делах, кроме формы, нигде не слышно. Вот истинное изображение здешнего двора. Заразиться пристрастием других и, не объясняя побудительных причин, доносить о словах королевы, или вызванных у нее ее непреклонною гордостью, или явно вымышленных ее врагами, - не будет ли это поступком подлым, непростительным для доброго человека, и не повредит ли это чести верного раба, особенно когда король и королева оказывают особенное уважение к ее императорскому величеству и наши дела с другими не мешают, европейские перемены и усилившееся чрез них значение их личных гонителей приписывают единственно собственному несчастью, ярости короля прусского, тонкости французской политики и нетерпеливому желанию венского двора. Кроме того, собственная моя безопасность требует, чтоб, сколько честь и совесть позволяют, мои донесения были согласны или по крайней мере явно не противоречили известиям, которые легко могут доходить, со стороны французского посланника здесь маркиза Давренкура и австрийского графа Гоеса. От первого я не могу ожидать никакого доброго расположения ко мне: доказательством служит письмо его к Дугласу, которое было ко мне переслано от высочайшего двора; смею уверить, что этим письмом он желал только расставить мне сети, которых я тогда счастливо избежал. О графе же Гоесе пусть кто хочет скажет, есть ли в нем хотя одно качество благородного человека, что он не льстец, не лжец и не трус и вместе с тем не преисполнен гордостью, свойственною имперскому графу скаредного воспитания. Он издавна всеми силами искал благоволения французского посла, а теперь так к нему привязался, что если бы венский двор здесь копииста держал, то и тот не мог бы пред ним более раболепствовать, отчего французский посол теперь со всеми нами обходится нестерпимо гордо, так что испанский министр, бывший всегда ревнителем французской системы, принужден был недавно заметить ему, что его диктаторский голос обижает представителей других держав".

В каких *сентиментах*, по тогдашнему выражению, находился Панин к новой системе, видно из следующего письма его к канцлеру: "Венский двор заразил у нас натуральную нашу общую систему, посадя у нас французского министра; время покажет, сколь долго при нем граф Эстергази фигурировать станет и не будет ли наконец сам у него челобитчиком по делам своего двора. Истинно непонятно венского двора ослепление, как он видеть не может, что упадок Англии под французскою силою ему впредь самому будет тягостнее, нежели потеряние Шлезии. Франция После худого успеха последней попытки разорения германского корпуса устремилась всеми образами атаковать ту верховную силу, которую

все ее усиливания в ничто обращались и без которой ей впредь легче будет раздавить аустрийской дом и присовокупя ему Шлезию, нежели теперь без оной".

Русский министр в Польше находился в таком же затруднительном положении относительно французского министра, тем более что и Гросс, подобно Корфу и Панину, привык к старой антифранцузской политике. Правительство требовало от Гросса чрезвычайно трудного дела: старания о примирении польских вельможеских партий. Французский резидент Дюран поступал проще и легче: он стоял за своих, против Чарторыйских, объявляя, что всякая перемена в острожском деле будет очень неприятна противникам Чарторыйских и что это подаст повод туркам вмешаться в польские дела; князья Чарторыйские с своей стороны никогда не могли примириться с двором, если бы острожское дело не было решено по их желанию. "Из этого можно заключить, - писал Гросс, - в каком затруднении находится король в соглашении этих дел и как могут нравиться мои увещания к уступкам и умеренности".

В это время Гросс был еще потревожен письмами, которые сообщил ему по секрету львовский почтмейстер. Малороссийские эмигранты мазепинцы Нахимовские, Мировичи, Орлики, страдая общею эмигрантскою болезнию, еще мечтали, что для них может когда-нибудь наступить благоприятное время, что Малороссия освободится от ига москалей. Приехав из Крыма в Яссы, Нахимовский писал молодому Орлику, бригадиру французской армии, величая его графом: "Дело нашего отечества начинает поправляться, потому что кошевой с Запорожским Войском тайным образом прислал к крымскому хану нарочного под видом купца, который живет в Крыму уже более двух месяцев, а у нас почти ежедневно бывал в Бакчисарае и клятвенно подтвердил о предприятии Запорожского Войска. Хан уже согласился было на принятие Сечи в Алешки, т. е. в то место, где она и прежде была, но еще окончательного решения не объявил: видно, сообщил об этом деле Порте. Я с паном Мировичем представлял запорожскому посланцу, что русские границы идут до Севска, а не до Ингула и Ингульца. Я внушал ему больше всего, что на Микитином Рогу теперь начали крепостцу починивать на собственной запорожской земле, данной королями польскими, от которых у запорожцев есть жалованные привилегии на вольность и права, которые теперь москаль отнял и самих вас, запорожцев, крепостями окружил и под караулом содержит, построив в Сечи крепость. И многие другие внушения о России мы делали, приводя разные примеры, что она ничьих прав своим вероломством не пощадила". С другой стороны, тревожил прусский резидент в Варшаве Бенуа, который хвастался, что его король имеет верные известия из Петербурга, что русское войско ранее половины июля не начнет своих действий против Пруссии, а до того времени он, король, может быть, принудит австрийцев к миру. Тот же львовский почтмейстер, получивши от Гросса за свои услуги 300 червонных, открыл ему, что Бенуа прислал ему разные прусские декларации, манифесты и тому подобные пьесы для распространения

между шляхтою, но он, почтмейстер, все эти пьесы держит у себя и не распространяет.

В мае Дюран по возвращении от гетмана Браницкого из Белостока имел разговор с Гроссом. "Что это значит, - спрашивал Гросс, - что французские приверженцы в Польше до сих пор продолжают интриги при Порте против пропуска русских войск чрез Польшу, тогда как им хорошо известно, что состояние европейских дел совершенно переменило вид и русские войска идут единственно для вспоможения их государю и что эти так называемые французские партизаны одинаково подкрепляются как с французской, так и с прусской стороны и Бенуа величает их истинными сынами отечества?" "Все здешние магнаты, - отвечал Дюран, - привыкли к интригам и проискам и теперь скоро от них отвыкнуть не могут, надобно их побуждать к этому мягкими средствами; я нарочно ездил в Белосток, чтоб гетману и окружающим его людям внушить другие мысли, что, надеюсь, будет иметь доброе действие".

В том же мае Гросс сообщал Брюлю о соглашении обоих императорских дворов доставить польскому королю город Магдебург с принадлежащим к нему округом, также Сальский округ, а если будет возможно, то и больше в вознаграждение понесенных убытков в Саксонии. Брюль отвечал, что король не находит слов для изъявления своей благодарности, но просил довести до сведения императрицы просьбу короля, нельзя ли доставить королю кроме Магдебурга и Сальского округа еще ту часть Силезии, которая отделяет Саксонию от Польши, что должно помочь достижению известных видов императрицы.

В июне Варшава была сильно встревожена проездом прусского генерала Ломута, который, пробыв двое суток у Бенуа и ни с кем не видавшись, отправился в Бреславль. Решили, что генерал проезжал для осмотра дороги из Силезии в Пруссию чрез Польшу; театр войны перенесется в Польшу, где произойдет великое замешательство; королю польскому нельзя будет более оставаться в Варшаве. Гросс вместе с австрийским и французским министрами уговаривали Брюля заранее подумать, куда в таком случае переехать королю; предлагали Гродно, прикрытое русским войском, Львов или Шебус на венгерской границе. Положение короля было тем опаснее, что, по признанию Брюля, двор не знал, кому из знатных поляков можно было довериться, ибо если князья Чарторыйские и друзья их недовольны острожским делом и преобладанием графа Мнишка, то и гетман Браницкий, и советники его считают себя обиженными, потому что не все по их воле делается; иные, как Потоцкий, воевода Бельский, которым терять нечего, рады беде, чтоб в мутной воде рыбу ловить. Повод к большим толкам подало заграничное путешествие молодого Чарторыйского, сына воеводы русского, - путешествие чрез Данциг, Берлин и Голландию в Англию. Гросс представлял воеводе русскому о несвоевременности такого путешествия, но тот отвечал, что слухи, распускаемые его врагами, не заставят его переменить план воспитания

своего сына, которого давно уже вознамерился отправить в Англию для излечения от ветрености; притом всем известно, что ни он, ни друзья его Пруссии не преданы. Гросс уверял свой двор, что несогласно с характером и выгодами Чарторыйского как первого богача в Польше поднимать в ней беспокойство. Брюль внушал Гроссу, что для спасения Польши от предстоящих ей бед фельдмаршал Апраксин должен ускорить свои операции и прогнать из Пруссии Левальда, ибо король прусский писал своей матери, что в шесть недель надеется овладеть Богемиею и австрийскою армиею.

Летом приехал в Варшаву также в качестве полномочного министра генерал-майор князь Михайла Никитич Волконский, родной племянник Бестужевых (сын знаменитой княгини Аграфены Петровны); Гросс остался вместе с ним в прежнем характере. В инструкции Волконскому говорилось, что он отправляется вследствие просьб графа Малаховского, князей Чарторыйских и прочих благонамеренных патриотов не только для лучшего отвращения и предупреждения всякого зла, но и для восстановления старой системы, которую Петр Великий положил в основание тишины в республике и общего интереса для России и Польши. Прежде всего Волконский должен был стараться о примирении противных партий, о соединении всех вельмож с благонамеренными, т. е. с членами русской партии, - дело чрезвычайно трудное, тем более что Франция, по известному ее правилу, не перестанет сильно подкреплять своих приверженцев, а король прусский, особенно при нынешних его великих суетах, естественно, будет стараться во всей Польше и Литве возбуждать всякие замешательства. Волконский должен был стараться приобрести у поляков такой кредит, чтоб они всегда, особенно во время бескорольевья, поступали по намерениям ее величества и чтоб держались ее покровительства более, чем других держав, равно как давали лучшее удовлетворение относительно единоверных наших в Польше, дел пограничных и выдачи беглых. Еще в 1755 году канцлер граф Малаховский секретно представил русскому двору свои мнения, что в Польше до сих пор не имеют о России ясного понятия, представляют ее шляхте только как розгу, употребляемую в наказание своевольным людям, чем Франция воспользовалась: увеличила число своих друзей и привела Россию в ненависть; поэтому-то и нужен в Польше такой министр, который бы смело опровергал подобные внушения о России, как о розге; этот посол не должен держаться никакой партии, но должен быть посредником и примирителем: так в 1717 году водворено было спокойствие посредничеством Петра Великого. Гетманам поручено иметь надзор над войском при границах, но теперь гетманы чрезвычайно усилили свою власть, делают что хотят, шляхтичи говорить не смеют, чего поправить нельзя без русского посредничества.

Так как все эти суждения графа Малаховского основательны, то Волконский должен домогаться, чтоб всякие беспорядки и нарушения прав и вольностей в Польше были пресечены, чтоб примасу королевства не

делалось никакого препятствия в исправлении его должностей, также канцлерам коронному и литовскому незаконная гетманская власть была сокращена, чтоб на сеймиках, сеймах и главных трибуналах не было никаких нарушений законам и установленным обычаям и порядкам; чтоб дело острожской ординации было как можно скорее успокоено; если же кто станет представлять, что иностранная держава не должна вмешиваться в домашние дела республики, отвечать, что вмешательство было бы тогда, если б Россия принялась за решение дела, настаивала, кому именно имения ординации должны принадлежать; но Россия, предоставляя решение королю и республике, настаивает только на скорейшее и удовлетворительнейшее окончание дела, подающего повод к такой вражде и смуте. Побуждая королевский двор к прекращению раздоров между фамилиями, Волконский должен честь этого прекращения предоставлять королю, а сам должен только убеждать каждого к податливости и умеренности; должен также во всяком справедливом деле подкреплять старых русских доброхотов. Так как некоторые из этих благонамеренных вельмож, и особенно князья Чарторыйские, вероятно, будут сильно докучать о денежном вспоможении, то хотя без него и нельзя обойтись, но не иначе как в случае бескоролья, а теперь давать его было бы излишне, потому что некоторым магнатам ежегодные пенсии даются, а именно: примасу Комаровскому - по 5000 рублей, коронному канцлеру графу Малаховскому - по 7000, литовскому обер-шталмейстеру князю Радзивилу - по тысяче рублей и литовскому канцлеру князю Чарторыйскому доставлена значительная сумма. Так, когда к послу будут обращаться с просьбами, он может в общих выражениях обнадеживать высочайшею милостию, которою никогда не будут оставлены в важных и необходимых случаях. Относительно главнейшего пункта - королевских выборов - надобно теперь же заблаговременно принимать меры, потому что нынешний король при его старости и крайней печали о потере наследственных земель ненадежен. Так как король желает избрания своего сына и так как ему изъявлено на это согласие ее величества чрез посланника Гросса в крайнейшей конфиденции, то Волконский должен был осторожно, но вместе с тем и ревностно внушать об этом знатнейшим полякам и домогаться от них согласия, ибо русский интерес требует возведения на польский престол саксонского принца. Волконский должен был прилагать крайнее старание, чтоб не возбудилось дела об освобождении Бирона.

Девятым артикулом договора вечного мира у России с Польшею выговорено, чтоб греко-российского закона четырем епископиям - Луцкой, Перемышльской, Львовской и Белорусской, монастырям, архимандриям, игуменствам, братствам и всем живущим в Польше и Литве людям иметь свободное отправление греко-российской веры без всякого утеснения и принуждения к принятию веры римской или унии. Несмотря на то, первые три епархии уже давно привлечены поляками в унию, и теперь осталась одна белорусская и несколько монастырей; но и эта последняя претерпевает беспрестанно жестокие обиды: духовенство берет в

гражданский суд, других бьют, церкви запирают и вовсе отнимают, ветхих поправлять и новых строить не позволяют, а представления со стороны императорского двора остаются без всякого успеха. На Волконского возлагалось на все эти обиды, как старые, так и новые, словесно и письменно подать при польском дворе сильнейшие жалобы и домогаться, чтоб все привлеченное к унии было возвращено православию, дозволена была починка старых и строение новых церквей и строжайше запрещено было приневоливать к унии, не принимая никаких отговорок. Границы между Россией и Польшею до сих пор не определены, а между тем оказывается, что поляки захватили русских земель на 988 квадратных верст; Волконский должен был требовать назначения комиссаров для определения границ.

Князь Волконский мог сначала ласкать себя надеждою, что приехал в Варшаву в благоприятное время - пришло известие о Гросс-Егерсдорфской победе Апраксина, и король на радостях дал Волконскому орден Белого Орла. Но скоро стали приходить известия об отступлении русских войск, а между тем французские отношения представляли сильные затруднения. Поляки французской партии передавали французскому министру в Варшаве свои жалобы на тягости, сопряженные с проходом русских войск, французский министр в Варшаве передавал жалобы французскому послу в Петербурге маркизу Лопиталю, который и предъявлял их русскому министерству. Такое посредничество сильно оскорбляло петербургский двор. Волконский должен был хлопотать, чтоб оно прекратилось; но этого трудно было достигнуть. Канцлер Малаховский сообщил Волконскому и Гроссу в секрете, что у французского министра в Варшаве сочиняют записку, где должны быть изложены все жалобы поляков на Россию за целые сорок лет. Волконский заметил при этом, что лучшее средство уменьшить французское влияние - это прекратить острожский спор в пользу членов русской партии; но Малаховский отвечал, что при настоящих обстоятельствах по причине отступления русских войск и особенно вследствие зависимости, в которой саксонский двор находится от французского, ожидая главнейшим образом от него освобождения своих наследственных владений, нельзя ожидать такого шага, ибо французский министр истолковал бы его в крайнее предосуждение своему двору.

Вслед за тем Волконский и Гросс обратились прямо к графу Брюлю с внушением, что поведение французских министров Брольи и Дюрана и понаровки им со стороны польского правительства могут произвести недоверие между союзными дворами и уничтожить согласие, восстановленное между Россией и Францией. Брюль признался, что действительно Брольи с нетерпением хватается за всякий случай, чтоб сделать Россию ненавистною; но что же делать? Необходимость велит щадить французских министров в то время, когда русское войско совсем выступило из Пруссии, австрийское же выпустило из рук случай овладеть Бреславлем, и остается одна Франция, которая может выручить саксонские земли от пруссаков. Из уверений управляющего иностранными делами во

Франции аббата Берни как будто видно, что французские министры в Варшаве поступают не по приказаниям Людовика XV, а самовольно, и потому недурно было бы, если бы императрица прямо обратилась к французскому королю с требованием лучших наставлений его министрам или даже их отозвания. Когда Волконский заметил о необходимости окончить острожский спор в пользу русских приверженцев, то Брюль отвечал, что теперь для этого время неудобное. Волконский предложил начать примирение Чарторыйских с придворною партией такою сделкою: по кончине коронного маршалка Белинского на его место коронным маршалком сделать графа Мнишка, а на место последнего надворным маршалком - князя Любомирского, зятя воеводы русского князя Чарторыйского; но Брюль и на это подал мало надежды.

Малаховский и Чарторыйский сообщили Волконскому, что французский посол Брoльи принудил графа Брюля исходатайствовать у короля чин брацлавского писаря шляхтичу Богатко, который не имел права на этот чин. Волконский при первом свидании упрекнул Брюля за такой беспорядок; тот отвечал, что хотя не без особенного сожаления он видел себя принужденным к такому поступку, но что же делать, когда при отступлении русских войск единственная надежда королю остается на Францию, и потому ей должно во всем угождать. По поводу этого разговора с Брюлем Волконский писал в Петербург: "Для приобретения здесь кредита надобно либо раздавать большие деньги, либо располагать при дворе вакантными чинами и староствами; Франция владеет последним из этих средств, но не перестает пользоваться и первым и тем чрезвычайно усиливает свою партию. Не будучи и этим довольны, французские министры употребляют и третий, особенно вредный для русских интересов способ, собирая и толкуя превратно все жалобы поляков на Россию, и своим заступничеством делают себя приятными, а нас ненавистными. Так, граф Брoльи в присутствии графов Брюля и Штернберга (австрийского посла), также в присутствии Гросса с крайним негодованием говорил против зимних квартир, занимаемых русскими войсками, предъявляя, что жители Литвы и без того разорены от прохода русского войска, от скупки съестных припасов в русские магазины, задержки судов на Немане, взятия подвод. Граф Брюль заметил, что ваше величество уже приняли намерение назначить комиссаров для рассмотрения и удовлетворения всех этих жалоб. Гросс прибавил, что до сих пор ни ко мне, ни к кому никаких жалоб не доходило, а находившийся при фельдмаршале Апраксине Забелло тому и другому засвидетельствовал, что все обращенные к нему жалобы удовлетворены. Несмотря на то, Брoльи продолжал говорить, что он получил множество жалоб, да и комиссия, обещанная вашим величеством, скоро не соберется, ибо ваши повеления без исполнения остаются. Брoльи распространился о жалобах киевского воеводы Потоцкого и брацлавского воеводы князя Яблоновского. Гросс возражал, что жалобы первого исследованы и ответ на них дан; что же касается до жалобы Яблоновского относительно Чигирина, то тут никакого спору быть не может, потому что границы Чигиринского староства определены договором 1686 года. Гросс

прибавил, что нет никакой нужды третьему со стороны мешаться в пограничные поры между Россией и Польшею, на это есть особенные комиссары с обеих сторон, и не согласной достоинством посторонней державы вступаться во все безделицы, какие могут иногда произойти на границах другого отдаленного государства. Брoльи разгорячился и стал говорить, что, заступаясь за поляков, он поступает по указу своего двора, что неудивительно, если поляки, не получая удовлетворения от России, ищут предстательства союзной державы, что между союзниками договор - во время прохода русских войск через Польшу не причинять жителям никакого убытка, и потому он, Брoльи, имеет полное право вступаться во все жалобы поляков, чтобы вследствие их неудовлетворения не нарушено было спокойствие страны, и что без него и Дюрана давно бы уже произошли смуты". Волконский и Гросс оканчивают это донесение от 19 октября известием, что граф Понятовский отзывается из Петербурга вследствие письма французского короля, а это доказывает, по их мнению, совершенную власть, какую Франция имеет над польским двором.

На это донесение Волконский и Гросс получили от своего двора неожиданный ответ: "Мы признаем, что польский двор теперь ожидает для Саксонии всего от двора французского; но мог бы польский двор представить французскому, что как ни велика его признательность, однако он надеется, что король французский никогда не потребует, чтоб эта признательность доказывалась нарушением прав королевства Польского и слепым снисхождением на просьбы всех тех, которые, быть может не оказав отечеству никаких заслуг и не содействуя согласию между дворами, имели только искусство угодить лично графу Брoльи или резиденту Дюрану; вы не оставите об этом нашем мнении дать знать королю чрез графа Брюля. Правда, кто при дворе чинами и староствами располагает, тот большую партию себе составит, только не для чего об этом беспокоиться; благодарность поляков известна: как скоро не французский посол, а кто-нибудь другой будет располагать чинами, то о французском после будет совершенно забыто. Князя Чарторыйские из ничтожества двором выведены и, располагая чинами, первенствовали в Польше, а теперь потеряли значение, потому что чинами не располагают. Все имеет свое время, надобно подождать и, когда наступит наше время, пользоваться им. Что касается раздачи полякам денег, то мы показали, что большей экономии в этом не наблюдаем, только ведь и наскучит слышать частые об этом напоминания от всех наших министров, кто бы туда послан ни был, а никогда не видать никакой от этого пользы. Известно, что за деньги можно приобрести приятелей, но нельзя же ограничиться только тою пользою, что они наши деньги будут принимать. С Веймарном было отправлено в Польшу 6000 червонных по точному требованию князя Чарторыйского, канцлера литовского; но пользы эти деньги не принесли никакой, и этот богатый магнат принимал их не с должным уважением, а как будто бы их ему навязывали. Если подлинно Франция раздает деньги в Польше, то она может получить от этого пользу, находясь в таком отдалении от нее, не будучи в состоянии ни прямо помогать Польше, ни притеснять ее. Без

раздачи денег она могла бы быть совершенно неизвестна в Польше. Но с нами совсем другое дело: нам нужно примечать французские движения, но во всем подражать им излишне".

В конце года Волконский и Гросс донесли, что Брולים и Дюран стали вести себя получше, продолжается только холодность, нежелание вступить в разговор.

Перемена в поведении французских министров произошла оттого, что нельзя было долго смеяться над отступлением Апраксина; после того как отряд австрийцев под начальством генерала Гаддика захватил Берлин и поспешно оставил его, взявши только с жителей 185000 талеров контрибуции, французское войско в октябре потерпело от Фридриха II поражение при Росбахе, австрийское в ноябре - при Леутине; шведское войско, вторгшееся в прусскую Померанию, было отброшено тем самым Левальдом, которому так не посчастливилось при Грос-Егерсдорфе. Фридрих II торжествовал над страшною коалициею. Надобно было готовиться к тяжелой и долгой войне, надобно было готовить войско и деньги.

В марте Сенат приказал из Военной коллегии подать ведомость, сколько теперь следует в отставку солдат для определения к статским делам, потому что из разных мест требуют их для содержания караулов и других служб, так как теперь в тех местах нет армейских солдат и рассыльщики взяты в военную службу. Война грозила стать и морскою, ждали английской эскадры в Балтийское море, а потому флот требовал одинакого внимания с сухопутным войском; постановили: недорослей, являющихся к определению в кадетские корпуса, сухопутный и морской, разделять пополам, чтоб эти корпуса могли наполняться уравнительно. В конце года Военная коллегия подала ведомость о рекрутах; из этой ведомости оказалось, что последнего набору рекрут в сборе 43088, офицерам отдано 41374 человека, от них отправлено 37675, а к полкам действительно приведено 23371 человек. Сенат велел спросить коллегия: куда же делось 19517 человек? Несколько прежде Сенат слушал экстракт из протокола конференции о предложении графа Петра Шувалова производить ежегодный рекрутский набор не со всего государства, а с одной только части, разделив для этого всю Россию на пять частей. Тот же Шувалов указал на вредную в военное время медленность почты: рапорт от командира первого мушкетерского полка, отправленный 26 сентября, получен 14 ноября; по дороге от Смоленска до Петербурга находился месяц и двенадцать дней.

Мы уже упоминали о столкновении Шувалова с генерал-кригскомиссаром князем Яковом Шаховским. Шаховской в своих записках дает нам знать, куда девались 19517 человек рекрут, о которых Сенат спрашивал Военную коллегия. В описываемое время Шаховской находился в Москве при Главном комиссариате. "В одно время в исходе зимы, - говорит

Шаховской, - на половине моего пути к госпиталю встретились мне несколько дровней, наполненные лежащими солдатами и рекрутами. Я остановился и спрашивал: куда их везут? Бывший при них унтер-офицер сказал мне, что для излечения от тяжелых болезней отправлены оные были в генеральный госпиталь, но что их в оный за опасностью не приняли, и обратно велено ему отвезти их в команду; я, увидя жалкое тех несчастных состояние, в числе коих несколько уже полумертвыми казались, приказал обратно везти за собою в госпиталь, обнадежа, что их там помещу. Но как приехал вместе с теми страдальцами в дом госпитальный, то у большого крыльца увидел еще несколько на дровнях же лежащих больных. И как я только из моей кареты выходить стал, то доктор и комиссар оба вдруг спешно говорили мне, чтоб я далее крыльца не ходил, ибо чрез три дни, как я в последнее у них был, чрезвычайное множество из разных команд солдат и рекрут навезли больных, а по большей части в жестоких лихорадках и прилипчивых горячках, и что уже более 900 человек у них в ведомстве больных, и теми не токмо все покои в нижнем и верхнем этаже, но и сени наполнены, и от тесноты сделалась великая духота, а для холодного времени отворять всегда окна невозможно; итак, не токмо они один от другого заражаются, но и здоровые, признание и услужение им делающие, оттого впадают в болезни, а от команд почти непрерывно еще присылкой таких умножают, коих обратно в их команды отсылать принуждены, а для того и сих лежащих на дровнях обратно же в команды отправить намерены, чтоб они на счет госпитальный число мертвых не умножали. В то же время присланные с теми больными для отдачи унтер-офицеры просили меня о приеме оных, показывая из числа тех в пути несколько уже мертвых, а других в прежалостном состоянии на стуже дрожащих... Я собирал все свои мысли, как бы сыскать оным страдальцам облегчение, искал моими глазами по всем сторонам, не найду ль способных из близнаходящихся строений к пространнейшему тех помещений; спрашивал у комиссара и доктора, кто в коих живет? Там показывали мне близнаходящиеся строения, в коих жили разные госпитальные служители, из которых я приказал немедленно тех жителей вывезть в наемные квартиры, а в их покои поместить больных. Доктор и комиссар мне ответствовали, что они вчерась уже то предпринимали, но способа не нашли, ибо поблизости наемных квартир нет, да и вдали вокруг по разнесшемуся о больных наших слуху ни за какую цену внаем в госпитальное ведомство своих дворов не отдают. В то же время сведал я, что есть неподалеку конюшенного ведомства несколько порожних покоев, и еще уведал неподалеку же от госпиталя, позади Дворцового сада на берегу Яузы-реки, немалое деревянное строение, о коем сказали мне, что то Дворцовой канцелярии ведомства пивоваренный двор и теперь, в отсутствие ее величества, весь пуст и живет в нем только комиссар, у коего оный в смотре. Другие же сказывали, что за неприличностью места и что он уже ветх назначено все оное строение в другое, далее от сего сада место перенести и о подряде того к сноске и в газетах напечатано".

В этот-то пивоваренный двор Шаховской решился перевести служащих при госпитале, а в их квартиры поместить больных. Это он сделал, не дожидаясь разрешения от Главной дворцовой канцелярии, находившейся в Петербурге, и, зная, что таким самовластным распоряжением может возбудить неудовольствие, написал письмо к фавориту Ив. Ив. Шувалову с просьбою защитить, если недоброжелатели заочно станут что-нибудь разглашать. Ив. Ив. Шувалов, который среди тогдашней знати отличался мягкостью, людскостью обращения, который прежде всего старался сохранить со всеми добрые отношения, особенно же с людьми, выдающимися заслугами и способностями, старался казаться совершенно беспристрастным, свободным от воззрений своих родственников графов Петра и Александра Шуваловых, старался "благородным учтивством" и услугами сделать свой фавор приятным и желанным, - Ив. Ив. Шувалов в ответном письме своем хвалил человеколюбивый поступок Шаховского и обнадеживал своею защитою. Но в то же время Шаховской описал все дело приятелю своему майору гвардии Нащокину, и тот уведомил его, что в знатных домах у недоброжелателей Шаховского слышал выходки против него членов Главной дворцовой канцелярии, которые толкуют о неслыханной дерзости генерал-кригскомиссара, осмелившегося самовольно положить больных с прилипчивыми болезнями в том месте, где во время пребывания двора варят пиво и кислые щи для собственного употребления ее величества. Сенат потребовал от Шаховского объяснения, на каком основании он занял дворцовый пивоваренный двор без позволения Главной дворцовой канцелярии; но генерал-прокурор прислал ему дружеское письмо, в котором поздравлял, что недоброжелатели, "не находя справедливых резонов, коими бы вас повреждать возмogli, склоняются к примирению, как то вчерась в конференции было, что граф Петр Ив. Шувалов, зная, что я вас люблю, приближаясь ко мне, всем вслух говорил, что сожалеет о тех спорах и вздорах, кои он с тобою по своей команде производил, и теперь, довольно познав, что ваши упрямства по большей части дельные, все в том свои жалобы оставляет и предает забвению".

Но Нащокин в письмах своих твердил по-прежнему, чтоб Шаховской остерегался: жалобы Дворцовой канцелярии все увеличиваются. Нащокин был прав. В одно прекрасное утро является к Шаховскому гвардейский офицер, приехавший из Петербурга, и подает бумагу от начальника страшной Тайной канцелярии графа Александра Ив. Шувалова; в бумаге говорилось: "Ее импер. величеству известно учинилось, что вы самовольно заняли в дворцовом поваренном доме те каморы, в коих для собственного ее величества употребления разливают и купорят с напитками бутылки, и поместили в них прачек, кои со всякими нечистотами белье с больных моют; и для того по высочайшему повелению послан к вам из Тайной канцелярии нарочный, гвардии поручик, коему повелено, ежели по освидетельствованию его в тех покоях больные и прачки найдутся, то бы всех тех немедленно перевести в дом ваш для жилья их, не обходя ни единого покоя в ваших палатах, и точно в вашей спальне".

Все это было справедливо: помощник Шаховского по управлению госпиталем генерал-майор Коминг и госпитальный комиссар распорядились помещением больных и прачек в пивоварне без ведома генерал-кригскомиссара; и потом Шаховской узнал, что комиссар имел сношение с присланным из Петербурга чиновником Дворцовой канцелярии и, как нарочно, перед самым приездом гвардейского офицера ввел больных и прачек в пивоварню. Как бы то ни было, указ был исполнен и Шаховской должен был две недели содержать в своем доме больных и прачек, пока не пришел ответ на объяснительное письмо его к императрице. Ив. Ив. Шувалов написал ему благосклонное письмо с выражениями глубокого сожаления о случившемся и уверял от имени императрицы, что "ее величество, увидя его, Шаховского, оправдание, сожалеет, что так скоро и неосмотрительно с ним учинено". Когда потом Шаховской приехал в Петербург, то доброжелатели рассказали ему, как произошла эта неосмотрительность; по их словам, члены Главной дворцовой канцелярии постарались отомстить Шаховскому с помощью графов Шуваловых, Петра и Александра, сердившихся на него за несогласие удовлетворять их требованиям по войскам, находившимся под их начальством. Вот как передает этот рассказ сам Шаховской: "Граф Петр Ив. Шувалов по обыкновенному искусству чрез свою супругу графиню Мавру Егоровну, которая тогда, в великой у ее величества милости и доверенности находясь, во дворце жила, так как и прочие свои надобности по желанию произвел и хитро домогся от ее императ. величества мне такого решения, употребляя еще к тому своего служника, тогда бывшего при дворе и в милости у ее величества находящегося обер-мундшенка Бахтеева. Таким образом, роли свои начали они при первом к тому способном случае: будучи во внутренних покоях пред лицом ее величества, отошед к окну, умышленно начали с важными и удивительными видами разговаривать; ее величество, то приметя, подошед к ним, спросила: о чем они так важно разговаривают? Оба они замолчали, дая вид, якобы для опасности своей в такие дела вмешиваться и донести ее величеству не осмеливаются. Она такие их скромности, за нечто важное приняв, повелительным образом требовала, чтоб они о всем том, и коего они, больше ее боясь, скрывают, обстоятельно сказали. Графиня Шувалова ответствовала: "О, боюсь, матушка, что сей удачливый в своих предприятиях человек, которому все по большей части трусят и уступают, меня иными средствами обругает. Ежели б так муж мой сделал, много бы на него вашему величеству доносителей в том было, а на этого смельчака никто не смеет" - и при том указала на обер-мундшенка Бахтеева: "Вот-де ему об этом должно вашему величеству представить, да и он-де трусит". Ее величество, то выслушав, уже с большею нетерпеливостью и восхищением гнева спросила: "Что то за дело и кто такой вам паче меня страшен есть?" Господин Бахтеев (как сказывал мне тот, которому при всем том быть случилось) с робким видом и как возмог увеличил в мое повреждение тот мой поступок о занятии пивоваренного двора, и якобы я в те каморы, где разливают и купорят бутылки для ее величества в употребление, поместил больных с гнусными

болезнями и прачек для мытья снимаемого с них белья. И тако сии бессовестно злоковарные добродетельное сердце к решению противу меня приготовили, что в тот же момент ее величество, проговоря: "Вот я вам докажу, чтоб вы не боялись сего смельчака", призвав графа Александра Ив. Шувалова, который, как бы нарочно, на тот час неподалеку находился, соизволила повелеть ему, нимало не мешкав, нарочного офицера с высочайшим ее ко мне указом в Москву отправить".

Вследствие всей этой истории велено в московском госпитале сделать пристройку; но Шаховской представил, что госпиталь находится вблизи дворца и выше по течению Яузы, поэтому нечистоты по реке и дурной запах может по ветру доходить и до дворца: так не лучше ли построить вновь каменный корпус на берегу Москвы-реки, недалеко от Новоспасского монастыря или близ дома крутицкого архиерея, и здесь помещать не только больных унтер-офицеров и солдат, но и прочих чинов людей военных и статских, находящихся в неизлечимых болезнях и дряхлости, также сирот, оставшихся после убитых на войне, и незаконнорожденных младенцев; и на содержание, если госпитальных доходов доставать не будет, брать из доходов с синодальных вотчин, также остатки от расходов в архиерейских домах и монастырях, ибо относительно построения при монастырях госпиталей и странноприимниц многие указы не исполнены; а хотя в монастыри отставные офицеры и солдаты и посылаются для пропитания, но они там по большей части без надлежащего призрения и довольства содержатся, и от них на монастырские власти, и от властей на них происходят частые жалобы в разных приключениях и ссорах; настоящий же госпиталь может служить казармою для лейб-компаний или для других дворцовых надобностей. Когда это представление было прочтено в Сенате, то генерал-прокурор князь Трубецкой и граф Петр Ив. Шувалов объявили, что на учреждение инвалидных домов на таком же основании, как представляет Шаховской, уже есть высочайшее соизволение; поэтому приказали: принять мнение князя Шаховского, а место для госпиталей и инвалидных домов Сенат признал удобным на берегу Москвы-реки близ Данилова монастыря, и архитектору князю Ухтомскому начертить план и составить смету.

Но на приведение в исполнение таких обширных построек было мало надежды по состоянию финансов во время войны. Граф Петр Шувалов представлял конференции: "Капитала запасного нет; те миллионы, которые казне приобретены, издержаны; по установленному способу надбавка на цену вина, и соли сделана, умноженные доходы истощены, займы пожалованный миллион также. Способ приобрести деньги надежный: определенную для копеечной монеты по 8 рублей из пуда медь, 437500 пудов, переделать в грошовую, копеечную, денежную и полушечную монету по 16 рублей из пуда, и вместо обращающихся в народе медных денег 7397910 рублей будет обращаться по этому моему плану в государстве 12502154 рубля. Подданные ту выгоду иметь будут, что они шестнадцатирублевою в пуде монетою не так в провозе будут отягощены,

как теперь; прежняя монета такую низкою ценою установлена с целью пресечь привоз из чужих краев, но теперь эта предосторожность считается излишнею. Укажут, правда, другие способы для собрания большого капитала по примеру иностранных государств, например лотереи или банк; но у нас эти учреждения не годятся, потому что такую большую лотерею, чтоб получить шесть миллионов, не только скоро, но и едва ли вовсе набрать возможно, особенно когда у нас самая идея лотереи неизвестна. Что же банка касается, то от подделывания банковых билетов опасность, и бумажки вместо денег народу не только дики покажутся, но и совсем кредит повредится, потому что при употреблении банковых билетов в торгах всякие помешательства и обманы могут происходить".

В Сенате Шувалов предложил, что по его изобретениям с 1750 года до сих пор казна получила прибыли более пятнадцати миллионов рублей (15671172 рубля 53 копейки); из новых доходов устроен Дворянский банк; но это полезнейшее дело может повести к крайнему разорению дворянских фамилий, ибо для уплаты назначен только трехгодичный срок и многие дворяне не могут в три года выплатить, занять же им негде, особливо находящимся при армии, и, таким образом, принуждены лишаться недвижимых имений: нужно срок уплаты продолжить. Сенат согласился продолжить срок еще на год. Велено в Штатс-контору под видом займа отпустить с Монетного двора 275000 рублей с уплатою таможенными ефимками, которые приказано поскорее в передел употреблять, чтоб на Монетном дворе не последовало в деньгах недостатка; из разных других мест велено выдать в Штатс-контору 39490 рублей. Кроме военных издержек найдено необходимым производить безостановочно работы в Кронштадте: после канала там строили купеческую и среднюю гавани, на что отпущено было 97000 рублей. Смотрели, как бы сократить расходы, и опять напали на бесконечные комиссии. Генерал-прокурор предложил: в Ярославле по корчемным и прочим делам, а в Новгороде о непорядочных поступках верных сборщиков учреждены комиссии, но дела в них продолжаются немалое время за спорами и подозрениями на членов, а потому надобно раздать эти дела по соответствующим учреждениям: в Камер-контору, Юстиц-коллегию, и если там не смогут решить, то в Сенат, чтоб приказные понапрасну жалованье не получали и виновные без наказания не оставались. Сенат согласился.

Так как управление финансами сосредоточивалось в Сенате, то в низших учреждениях думали, что о всяком самом мелочном распоряжении в области финансов должно доносить Сенату. Московский магистрат донес, что он наложил пятидесятикопеечный оброк на анбар, построенный купцом Ефимовым для торговли горшками; Сенат велел магистрату прислать ответ, зачем он утрудил Сенат таким неподлежащим делом. Но никто не находил неподлежащим делом, что разрешение открыть герберг или гостиницу зависело от Сената. В Москве был уже герберг, содержимый савояром Берлиром в Немецкой слободе, а теперь позволено было основать другой - в селе Покровском, что в Елохове; позволение было дано

петербургскому купцу Цыгинбейну, у которого был герберг и в Петербурге. Сенат позволял также Московскому университету иметь под собственным своим смотрением, обержу или герберг для иностранных профессоров, магистров и учителей. В конце года запрещено было иметь в Петербурге более 2000 извозчиков по причине дороговизны фуража.

Из явлений областной жизни по-прежнему особенное внимание возбуждали крестьянские волнения. Евдоким Демидов опять жаловался, что для усмирения его крестьян в Алексинском и Лихвинском уездах послан был прапорщик с командою; но крестьяне прапорщика не послушались, команде запрещали ходить в село Русаново, грозясь бить до смерти; два священника и крестьяне сказали, что Демидова и детей его слушать не будут. Против взбунтовавшихся крестьян Новоспасского монастыря Шацкого уезда сел Спасского и Введенского отправился подполковник Хатунский; вследствие сопротивления спасских крестьян он принужден был употребить артиллерию и ружья и силою ворвался в село: крестьяне разбежались; потом отыскано было в селе и сами явились 62 человека, а в селе Введенском - только 10 человек; так как бунт произошел вследствие обид от монастырских управителей и слуг, то для исследования дела учреждена смешанная комиссия из членов Сенатской и Синодальной контор.

Малороссийского гетмана успели наконец выпроводить из Петербурга в Глухов; по всей дороге, на каждом почтовом стану велено было выставить по 200 подвод; по примеру приездов гетмана Скоропадского Разумовскому дано было вместо кафтана и запоны 1116 рублей 52 копейки, а чиновникам, бывшим при нем, вместо соболей и камок: генеральному судье - 250 рублей, другим - по 60 рублей. Главную заботу со стороны малороссийской Украины составляли по-прежнему запорожцы. Здесь атаман минского куреня Шкура да ирклеевского куреня атаман Кишенский возмутили козаков разных куреней, взяли насильно котлы и, ударяя в них поленьями, собрали раду; набежало козаков больше 300 человек, подняли крик, ухватили две палицы, кошевого и судейского стола, и первую отнесли Шкуре, а вторую - Кишенскому, и Шкура стал кошевым, а Кишенский - судьей; но потом собрались атаманы и определили быть по-прежнему старому кошевому и войсковой старшине. Гетман послал взять под караул Шкуру, Кишенского и других зачинщиков и привезти в Глухов. Но атаманское определение, как видно, оказалось непрочным: старый кошевой и старшина сочли за нужное отказаться от своих должностей под предлогом старости и выбраны были новые. Гетман, узнавши об этом, писал в Запорожье, что за такое дело Войско Запорожское весьма достойно быть под истязанием и штрафом и чтоб впредь не смели под опасением высочайшего гнева сами собою увольнять кошевого и старшину и выбирать новых. Гайдамаки оговорили кошевого и старшину, что они брали у них в подарок грабленные вещи.

Мы видели, что русский министр в Варшаве Гросс получил извещение о надеждах малороссийских эмигрантов, живших в Крыму. Когда это извещение было переслано в Петербург, то отсюда, разумеется, пошла грамота к гетману, чтоб удвоил внимание. Разумовский испугался, но не эмигрантских происков, могших нарушить спокойствие вверенной ему страны, а того, что в Петербурге испугаются этих замыслов и не позволят ему покидать Малороссию. В отчаянии он писал вице-канцлеру Воронцову: "Вашему сиятельству яко другу моему открываюсь, что сие дело есть совсем несбыточное и неосновательное; я больше почитаю, что вымышленное моими известными приятелями такого свойства, каковы были мнимые шпионы от короля прусского, единственно только для того, чтоб сделать мое присутствие здесь нужным, важным и весьма необходимо полезным, дабы чрез то вложить мнение государыне, какая опасность от сего краю быть может, в наблюдение чего, чтоб меня засадить в сем скучном месте и затворить бы путь к моему возвращению в Петербург, ежели пожелаю".

Но малороссийские эмигранты были существа действительные, а не мнимые, и потому Разумовский придумал средство против людей, которые могли помешать его поездкам в Петербург. "Последний рескрипт, - писал он Воронцову, - заставил меня думать, каким бы образом истребить сей канал, откуда сии вести приходят, которые смущают тех, которым дела сии вверены, а наводят на сей край недоверенность в то время, когда ни одна душа здесь такого безбожного мнения не имеет, но, напротив того, все пребывают в непоколебимой верности к ее импер. величеству, в чем ваше сиятельство твердо уверяю. Для пресечения сего, мне кажется, можно способ употребить, чтоб двух или трех бездельников истребить, которые в Крыму исстари живут и, будучи заражены старинными мыслями, по-старинному пишут и рассуждают, забыв то, что Украина после того времени, можно сказать, что совсем переродилась и совсем не то правление, не такие правители, не те, почитай, люди и, следовательно, не те уже и мысли в них пребывают. Для успокоения всего, мне кажется, что можно сих плутов оттуда украсть или каким способом истребить, о успехе которого уверить заподлинно вас не могу, только старание удобовозможное употреблено будет. Итак, вас прошу дать мне знать, что вы о сем думаете".

Воронцов ответил, что "хотя весьма желательно бы было, дабы известные два злодея, находящиеся в Крыму, могли каким случаем истреблены или украдены быть, но как сей способ есть весьма ненадежный, к тому ж и может за собою неприятные следствия нанести, я думаю, что лучше бы было совсем в презрении оставить, толь более что никакого опасения от их каверз иметь не можно, и они уже престарелые люди и скоро в гроб пойдут".

Из Новой Сербии Хорват доносил, что население идет быстро: в три месяца, от января до апреля, пришло обоего пола душ 822. Но стали

приходить доносы на Хорвата, что он населяет Новую Сербию непозволительными средствами. Гетман Разумовский прислал в Сенат копию с допросов сотника Мовчана да осадчика новой Черноташлыкской слободки Савранского; из допросов оказывалось, будто бы Хорват приказывал Савранскому собрать запорожских козаков-охотников, идти с ними в Польшу, перегнать силою тамошний народ на эту сторону Буга и населить им новозаведенную слободу, почему Савранский с запорожцами в Польше был и из села Вербовец, принадлежащего Мнишку, пригнал 35 семей в свою слободу. Мовчан показал, что Хорват в присутствии поручика Булацела приказывал сотнику новопоселенной слободки Добрянки Табанцу, который жаловался на обиду от поляков, чтоб он взял охотников из запорожских степей и поугал поляков, только тайно, не разглашая, а я, сказал Хорват, в том ответчик, и руку Табанцу дал; Табанец и был в Польше, на ярмарке отбил больше 300 лошадей и зарезал 30 человек. Сенат приказал: гетману велеть поступить с Табанцом и Савранским по их винам за разбой и переход за границу; а показаниям на Хорвата не верить, ибо эти показания сделаны приличившимися в воровстве.

Далее на восток в украинских местах перемещение жителей происходило другим способом. В конце года правительство узнало, что из Тамбовского и Козловского уездов разных помещиков крестьяне, забирая свои пожитки и лошадей, бегут, а другие разглашают, что эти беглые, собравшись в Царицыне и переправясь через Волгу, порыли себе землянки, живут в них и впредь будут принимать к себе всяких прихожих людей; а некоторые крестьяне бегут и явным образом, объявляя, что идут для поселения в Царицын и в Камышенку к шелковому казенному заводу, где для принятия их определен майор Парубуч.

Из оренбургской украины доходили отголоски борьбы между старыми жителями, башкирцами, и русскими насельниками, пришедшими на разработку рудных богатств страны. Заводские конторы жаловались на башкирцев, будто те притесняют заводы, останавливают производство работ на них; мало того, кругом заводов пускают пожары, на заводы и рудники наводят волшебные дымы, отчего происходит смертельный воздух, так что на Овзянопетровском заводе почти все больны, а немалое число и померло; также своею ложью остановили отмежевание земель, купленных у башкирцев с лесом и угожьями, у находящихся при заводах крестьян немало лошадей отогнали. Неплюев по поводу этих жалоб подал мнение: "В Оренбурге, кроме этих известий, не предвидится ничего, что бы могло подать повод к башкирским волнениям; о пожарах и лошадиных отгонах точного исследования сделать нельзя, потому что никого не поймано, а что касается мнимых волшебных дымов, то ясно, что это от суеверия написано".

